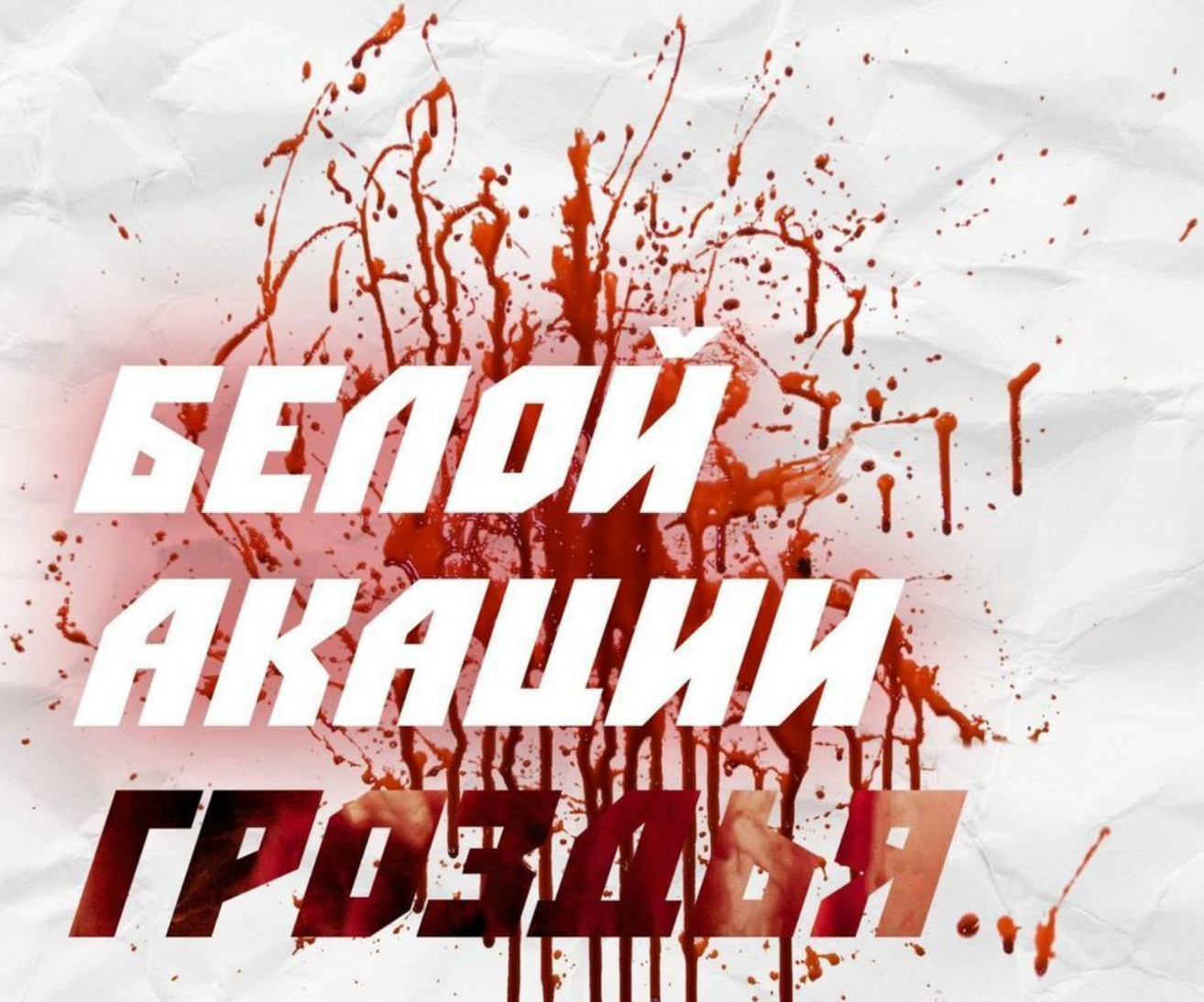
ЮРИЙ КИСЕЛЕВ

БЕЛОЕ И КРАСНОЕ



БЕЛОЙ АКАЦИИ ГРОЗДЬЯ

Юрий Киселев

БЕЛОЕ и КРАСНОЕ.
Белой акации гроздья…

«Издательские решения»

Киселев Ю.

БЕЛОЕ и КРАСНОЕ. Белой акации гроздья… / Ю. Киселев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-964809-9

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.Гардемарины Морского корпуса Андрей Иевлев и его товарищ участвуют в Белой армии и с ее остатками покидают родину, где пути их расходятся. На склоне лет Андрей пишет книгу, по которой его сын Майкл готовится снять фильм и прилетает в Россию. В Москве он знакомится с человеком, чей отец воевал на стороне красных. Рождается догадка, что отцы их были братьями. Книга адресована читателю, кого интересует поиск персонажами себя, своего места в контексте исторических потрясений и связь поколений.Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-964809-9

© Киселев Ю.
© Издательские решения

Содержание

1 12
2 43
Конец ознакомительного фрагмента. 64

БЕЛОЕ и КРАСНОЕ
Белой акации гроздья…

Юрий Киселев

…Белой акации запаха нежного,
Мне не забыть, не забыть никогда.

Из неофициального гимна Белой гвардии

Редактор Игорь Шагин
Дизайнер обложки Дмитрий Гиглавый

© Юрий Киселев, 2019
© Дмитрий Гиглавый, дизайн обложки, 2019

ISBN 978-5-4496-4809-9
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Американцы улетели. Первое время Щербинин и Ольга еще вспоминали их, но день ото дня текучка затягивала, пошли неотложные дела: вскопать на даче грядки, посадить, привести в порядок после зимовки домик. В галерее на Солянке открывалась выставка, и Игорю Александровичу предстояло развесить дочкину экспозицию. Развеской занимался он, в этом Ольга ему целиком доверяла. Глаз Щербинина удивительно чувствовал ритм, что немало помогало ему в бытность конструктором. После авиационного института он до пенсии проработал в прославленном самолетном ОКБ Павла Осиповича Сухого.

Отец Щербинина, Александр Иванович, в октябре 1917 года участвовал в Московском восстании и затем прошел в Красной армии всю гражданскую; мать, Антонина Петровна, также была старой большевичкой. И как получилось, что их сын не вступил в партию, – не иначе как плюс на плюс дают минус, или, как вышло на поверку, минус на минус дали плюс, и теперь Игорь Александрович в душе гордился, что так и остался беспартийным.

Настала Горбачевская перестройка, затем Ельцин, роспуск КПСС, и, как издревля повелось на Руси, принялись рушить «до основания, а затем…» промышленность встала. На фирме Щербинина зарплату задерживали месяцами. Он оформил пенсию и занялся так называемой индивидуально-трудовой деятельностью: продавал по разным организациям средства от бытовых насекомых и огородных вредителей. Позже знакомая перетащила его на Старый Арбат, где он стал продавать, по большей части иностранным туристам, работы дочери. Ольга, или ласково Лелька, а любовно Лешенька, родилась в первом браке.

Вволю нагулявшись после армии, Игорь влюбился в будущую Ольгину мать. Валя училась в театральном и за полгода до окончания незапланированно родила дочь. В театр устроиться не удалось, пробавлялась случайными заработками и мечтала о сцене. В это время ее пригласили на гастроли с какими-то эстрадниками – объявлять номера. Не для этого она пошла в театральный, но все-таки сцена, свет рампы… За первыми гастролями последовали следующие, свекровь не управлялась с увесистой внучкой, и Щербинину приходилось брать на работе дни за свой счет. Когда Валентина вернулась из очередной поездки, свекровь нелицеприятно поговорила с ней, сказав, что у сына ответственная работа, и он не может до бесконечности заменять ребенку мать. В ответ невестка увезла семимесячную Олю к своим бабушке и деду в подмосковную деревню, а затем и вообще в Днепропетровск к своей матери. Игорь уже

не знал, женат он, не женат, есть у него ребенок, нету, терпение его иссякло, и он поставил вопрос ребром: гастроли – или муж и ребенок. Валентина уехала, и через год они развелись.

Семнадцать лет Игорь Александрович ничего не знал о дочери, вспоминая о ней раз в месяц, когда удерживали алименты. В один прекрасный день в их квартиру в Большом Левшинском переулке вблизи Арбата заявилась фигуристая девица с лицом бывшей жены и сказала: «Папа, я твоя дочь».

Уже в детстве у Ольги обнаружилась склонность к рисованию. Переехав к отцу, она поступила в Строгановское училище. На втором курсе влюбилась в довольно известного художника, преподававшего у них рисунок. Он был много старше, страстно ее любил, потом спился, и в конце концов Ольга с ним разошлась.

Причиной его запоев, как оказалось, была она сама, о чем узнала спустя много лет, в тот самый день, когда познакомилась с американцами – отцом и сыном, Майклом и Дино Иевлевыми. Вернее, сперва с ними познакомился отец.

Накануне он, как обычно, стоял на Арбате с дочериными работами, что та писала на продажу с единственной целью – занять отца. Картины ее хорошо уходили с выставок, но жить на чей-то счет, даже дочери, было не в Щербининском характере.

Он уже снимал экспозицию, когда подошли двое американцев. На стенде оставалась одна картинка, которую он возил для себя, для настроения, и когда к ней приценивались, заламывал немыслемую цену. Однако на этот раз цена не испугала, и американец отсчитал запрашиваемую сумму, Щербинин заявил, что он доллары не берет, рассчитывая, что у американца такой суммы в рублях нет. Так и оказалось, и договорились на завтра.

Назавтра Щербинин не пришел, оставшись у дочери в мастерской, где он частенько ночевал. В разгар дня раздался звонок в дверь. Решив, что дочь забыла ключи, он открыл – и увидел вчерашних американцев. Навести их на мастерскую могла только Римма, та, что перетащила Щербинина на Арбат.

В прошлом Римма была физиком-теоретиком и работала в академическом институте. Зарплату там тоже не платили, она, как и Щербинин, занялась торговлей и через пару лет купила на Старом Арбате магазинчик «Сувениры». Игорь Александрович ставил стенд в виду ее магазинчика, и вчера Римма присутствовала при его разговоре с иностранцами, переводя ему, пока старший, Майкл, вдруг сам не заговорил на чистом русском.

*

По отцу Майкл происходил из старинного дворянского рода Иевлевых, в котором все мужчины получали воспитание в Морском корпусе, самом именитом высшем военном учебном заведении дореволюционной России, патронируемом царствующими особами. Сменялись государи, столетия, названия Корпуса, но неизменной для Иевлевых была приверженность морю и воспитанная Корпусом преданность Вере, Царю и Отечеству.

Последним Иевлевым, на ком флотская традиция оборвалась, оказался отец Майкла – Андрей Николаевич Иевлев. Он был в старшей гардемаринской роте, когда Николай II отрекся от престола, и к власти пришло Временное правительство. Андрей и его товарищ по Корпусу Петр Мартынов отказались присягать и ушли из Корпуса на фронт. Волей судьбы оба оказались в Москве в дни большевистского переворота в октябре 1917 года, участвовали в уличных боях, затем воевали в составе Добровольческой армии и оба закончили Гражданскую поручиками. А вот стать мичманами, как мечтали, не сбылось.

В ноябре 20-го года красные подступили к Севастополю, и армия генерала Врангеля эвакуировалась из Крыма. Франция дала русским морякам убежище в городе Бизерта в Тунисе. Петру Мартынову выхлопотали разрешение на проживание в Париже, а Андрей Иевлев пере-

брался в Сербию, куда эмигрировали его родители. Снова друзья встретились спустя год, когда Андрей переехал в Париж.

В первые же дни Андрей познакомился с юной художницей Аньес Леви, дочерью модного парижского адвоката. Молодые люди полюбили и вопреки воле родителей с обеих сторон поженились. Вскоре у них родилась дочь – Мари.

Через несколько лет Андрей уже работал ассистентом оператора на киностудии «Гомон», а Аньес стала модной художницей. Удача, казалось, улыбалась им. Но после убийства фашиствующим русским эмигрантом Горгуловым президента Франции Поля Думера в 1932 году, симпатии французов к русским охладели. А на следующий год к власти в Германии пришел Гитлер. Ситуация в Европе накалялась, и Иевлевы решили уехать в Америку. Майкл родился уже в Нью-Йорке.

Он уже ходил в школу, когда отцу предложили работу на голливудской студии, и семья переехала в Лос-Анджелес. Там Майкл закончил школу, по традиции отслужил в Navy, поступил в киношколу при Южно-Калифорнийском университете и стал, как и отец, режиссером, но не документалистом, а игрового кино. Сняв несколько фильмов, Майкл задумал картину на материале отцовской молодости: историю двух гардемаринов, которые пройдя сквозь смутное время революций и войн, вынуждены покинуть родину.

Первым советчиком Майкла был отец. Отец удивительно чувствовал перспективу того или иного проекта, и Майкл поделился задумкой с ним, тем более что тема касалась самой значимой для отца части жизни. Против ожидания, отец принял затею сына в штыки, заявив, что такой фильм можно снять только в России и с русскими актерами.

– Разве у нас нет актеров? – не соглашался Майкл.

– Видишь ли, есть нечто, что невозможно сыграть. Русский дух. Это относится к любой стране. Когда американцы играют русских, а русские американцев – карикатура! Национальный дух уникален. Как и природа. Где ты будешь снимать? В Голливуде из фанеры Россию построишь? Не обессудь, Мика, не покупаю.

После выхода картины английского режиссера Дэвида Лина «Доктор Живаго» по роману Пастернака, Майкл опять завел разговор. Отец саркастически усмехнулся:

– И что ж из этого получилось?

– Отличный фильм!

– Ну полно, Мика. Любовная история с гарниром из опилок. Режиссер полагал, что зритель несведущ и скушает это за русскую историю. Черта с два! Зрителя на опилках не проведешь. Хоть горы насыпь!

– Отчего ж? Картина имела успех!

– Любовь всегда имеет успех. Но помилуй, какое это имеет отношение к России? Ты же читал роман – какой Омар Шариф русский доктор? Картинный красавчик, без тонов и обертонов. А Джули Кристи со стеклянными глазами? Это Лара? любящая русская баба? кому в глаза загляни – утонешь, какая глубь! Стыдно слышать это от русского человека.

– По маме я еврей, – улыбнулся Майкл.

– По маме, по маме… А по папе, по-русскому – ты русский! – еще больше вскипятился отец. – Ты вырос на русском языке, на русской литературе. Какой ты, к черту, еврей! Ты знаешь их язык, соблюдаешь обычаи? Ходишь в синагогу?

– Хожу с тобой в православную. Изредка. Ты ведь тоже не слишком религиозен?

– Большевики отняли у меня Веру. Но эстетически – да, мне близко православие. В нем запах России, какой я ее помню. А маменька твоя – что в ней иудейского? Она получила светское воспитание, выросла во французской культуре. Разве дело в крови? В Пушкине текла и африканская кровь, а уж более русского, более русской души не сыщешь. Уволь, Мика, не покупаю твою историю.

– Твою, папа, – улыбнулся Майкл.

– Такую историю возможно снять только в России. Но России нет.

– Все меняется…

– Верно. Может статься, в один прекрасный день, и Америка уйдет под воду, как Атлантида. Но Совдепия, Мика… на веки вечные.

Из всего Майкл заключил, что дело не в том, где и с кем снимать, а отец по какой-то тайной причине не хочет, чтобы сын делал этот фильм. По какой – Майкл так и не узнал.

*

Время, в какое довелось жить Андрею Иевлеву, выпадает не каждому поколению, и Майкл посоветовал отцу написать книгу.

– Довольно уж написано, – буркнул тот. – Деникиным, Врангелем…

– Они не видели того, что видел ты, – возразил сын.

– У меня нет машинки с кириллицей. Не на английском же мне писать о России!

Майкл стал захаживать в комиссионки в Вест Голливуде, одном из районов Лос-Анджелеса, облюбованном эмигрантами из Советского Союза, и однажды напал там на машинку «Москва». Машинку почистили, смазали, перепаяли пару пляшущих букв, и Майкл преподнес ее отцу, а спустя время поинтересовался, как пишется книга.

– Если напишу, узнаешь первым», – отрезал отец и попросил с этим не приставать.

Разбирая после его смерти бумаги, Майкл нашел отпечатанную на «Москве» рукопись. Помимо исторических событий в книге было много личного, даже интимного, и Майкл не был уверен, что отец писал книгу для широкого читателя, а не для себя. Он посоветовался с маман (как он называл мать на французский манер, она его – Мишель). Аньес сказала, что, раз Андре (так она называла отца) предпослал книге «От автора», рукопись следует издать, дополнив сведениями, которые автор обошел, в частности весьма скупо написав о своем отце, Николае Николаевиче Иевлеве, деде Майкла.

Как и все Иевлевы, Николай получил воспитание в Морском корпусе, где первые по успеваемости гардемарины назначались младшими командирами в кадетские роты. У Николая унтером-офицером был гардемарин Александр Колчак, будущий прославленный адмирал, под началом которого Николай Иевлев впоследствии служил вплоть до выхода в отставку. Когда он сам перешел в гардемаринскую роту, его назначили унтер-офицером к кадетам, где воспитывался старший сын князей Щербатовых – Александр. Юный князь не отличался здоровьем, Николай его опекал, и Щербатовы пригласили Николая провести Рождественские каникулы у них в имении под Москвой. Там у Николая случилась связь с крестьянской девкой. Та понесла и вынуждена была уехать из села в Москву, где родила мальчика. А Николай по возвращении в Петербург и производству в мичмана женился на дочери контр-адмирала Волкова, и в августе следующего года у них родился Андрей. О том, что у той крестьянки от него сын, Николай не знал.

Этот факт биографии деда Николая Майклу рассказала маман, знавшая это со слов Андре. Вскоре по приезде в Париж Андрея представили княгине Ольге Александровне Щербатовой. В разговоре княгиня поинтересовалась, знает ли он что-либо о судьбе брата. Андрей немало удивился, сказав, что у него сестра, а не брат. Княгиня смутилась, сказала, что, верно, спутала, но Андрей понял, что не спутала, и умолил рассказать.

– Андре был уверен, что отец не знает о внебрачном сыне, – продолжала маман, – и собирался сказать, когда навестит его в Сербии. Но там они смертельно поссорились, и ни тот, ни другой во всю жизнь не сделали шагу к примирению.

– Теперь понятно, отчего он не хотел говорить о деде, – сказал Майкл. – «Не хочу, и больше не приставай». Что же такое ужасное произошло, чего они не могли друг другу простить?

Маман невесело усмехнулась:

– В Сербию Андре поехал со мной познакомить с родителями. Услыхав, что сын хочет на мне жениться, Николай сказал ему: «Женишься на еврейке – считай, отца у тебя нет, а у меня сына». Мне Андре тогда не сказал, но мы тотчас вернулись в Париж.

Майкл покачал головой, слов у него не было.

– Думаешь, твой дед Морис далеко ушел? – криво усмехнулась маман. – Когда папá узнал, что я выхожу замуж за русского «босяка» – он, правда, не заявил, что у него нет дочери, но даже не захотел увидеть внучку, когда Мари родилась.

Подредактировав рукопись отца, Майкл опубликовал книгу его воспоминаний под названием «Белой акации гроздья…", по строчке романса, который отец часто пел. Голос у него был небольшой, но брал за душу, и когда приходили друзья, они неизменно просили спеть. Он брал гитару, и гости, ни слова не понимая по-русски, слушали чуть не со слезой. «Грозди» он пел с особым чувством, а если человек приходил впервые, пояснял, что этот романс был неофициальным гимном Белой гвардии.

Книга Андрея Иевлева пользовалась известным успехом, особенно в Нью-Йорке, где в конечном счете нашли приют представители высшей русской аристократии. Успех книги вернул Майкла к мысли снять на этом материале фильм.

В то время Аньес еще работала художником на студии «Universal». Она посоветовала снимать балтийскую натуру в Сиэтле, а Санкт-Петербург в Хельсинки, архитектурной миниатюре Петербурга. По ряду причин Майкл тогда работу над проектом прервал и вернулся уже после окончания холодной войны и падения железного занавеса. Теперь можно было снимать Балтику на Балтике, а Петербург в Петербурге.

*

В самом начале Горбачевской перестройки Майкл познакомился на кинофестивале с режиссером «Ленфильма» – Евгением. Потом они несколько раз пересекались на разных киношных форумах и подружились. Евгений организовал приезд Майкла в Петербург и встречу с начальством Морского корпуса, упраздненного в 1918 году большевистским наркомвоенмором Львом Троцким и возрожденным уже в постсовдеповской России.

В поездку Майкл потащил с собой сына, Дино. Именно «потащил», так как интереса к России, как, впрочем, и к Америке, где сын родился и теперь снимал сериалы, у Дино не было. Вторая жена Майкла, итальянская актриса Лина Бенетти, увезла Дино после пятого класса в Милан, где тот и окончил школу. К отцу он вернулся делать карьеру в Голливуде, но душой оставался в Италии, ощущая себя скорее итальянцем, чем американцем. И уж ни в коем случае не русским, стыдясь той четвертинки русской крови, что в нем текла.

Когда Майкл работал над книгой, маман рассказала, что товарищ Андре по Корпусу – Петр Мартынов, в том же 1934 году, когда Иевлевы эмигрировали в Америку, вернулся в Советскую Россию. О его дальнейшей судьбе они не знали. В книге про отъезд Петра в Совдепию не было ни слова, что говорило красноречивей слов. Да и вообще в парижских воспоминаниях Петр Мартынов упоминался непривычно скупо. Некоторый свет пролила маман, рассказав, что вслед за Андре женился и Петр и сразу переехал с Дуняшей на север Франции в Сен-Назер, где получил инженерную должность на судоверфи.

– С Дуняшей? – насторожился Майкл. – Случайно не с той…

– Именно с ней, первой любовью твоего отца. Они ее встретили в Бизерте, куда она с мужем и двухгодовалым сыном также приплыла из Севастополя. В Париже Петр получил от нее письмо. Она сообщала, что ушла от мужа и просит помочь ей перебраться в Париж. Тетка Петра исхлопотала разрешение, Петр нашел им квартиру, вообще помогал. Он был

безумно в нее влюблен, прыгал вокруг как петушок: «Душечка», «Душечка». А она, думаю, она все еще любила Андре.

– Так почему она не за отца вышла? – недоумевал Майкл.

Маман улыбнулась:

– В отличие от меня она была практична.

– Что ты имеешь в виду?

– Прекрасно знаешь что. Ну вот, бывая в Париже, Петр к нам заходил, а на 6-е ноября, День основания их Корпуса, специально приезжал. Но всегда без нее, мол, не с кем детей оставить. Я думаю, Петр приходит без нее от неловкости, а может, и ревновал. Ну вот, в конце 33-го или начале 34-го Петр позвонил, что они всем семейством в Париже, и надо обязательно повидаться. Пришел с детьми и с ней. Андре спросил, надолго они в Париже, Петр сказал – проездом, и заулыбался. А мы уже сидели на чемоданах. Я спросила: «Не в Америку?» – «Нет, в Москву».

– Представляю, как воспринял отец, – повел головой Майкл.

– Андре был убит. Оказалось, Петра разыскали из Советского посольства и передали письмо от его отца. Тот пропал без вести в начале Первой Мировой. Оказалось, он был в плену и вернулся уже к Советам. Писал, что преподает в Военной Академии, и звал Петра, заверяя, что тому ничего не грозит, и они с мамой его ждут. Андре был уверен, что это ловушка, что отца Петра вынудили написать. Петр отвечал, что его отца можно убить, а вынудить – это едва ли. И они уехали. Мы провожали. Петр плакал. У Андре тоже слезы. Понимали – не увидятся. Мы не сомневались, что ОГПУ осведомлено об участии Петра в Добровольческой армии, такое они не прощали. Андре всю жизнь его не хватало.

Отец и его товарищ были прототипами героев задуманного Майклом фильма, и ему хотелось хоть что-то узнать о дальнейшей судьбе Петра. Доброй душе Евгению удалось отыскать внучку дворника Мартыновых. Для встречи с ней Майкл и приехал на пару дней в Москву. То, что он услышал, буквально потрясло его, заставив в целом задуматься о концепции будущего фильма. Как оказалось, Петр Мартынов репрессирован не был и до выхода в отставку работал в министерстве Военно-морского флота. На вопрос, состоял ли он в коммунистической партии, женщина ответила, что беспартийным – он бы там не работал.

Как могло статься, что выходец из потомственной офицерской семьи, воспитанный в одних с его отцом ценностях и идеалах, за что оба сражались с большевиками – пошел к тем же большевикам в услужение? Ясно, не меркантильный интерес: Петр был устроен как далеко не каждый француз. Что двигало им? И десятками тысяч кадровых русских офицеров, кто присягал в верности Вере, Царю и Отечеству, а затем верой и правдой служил большевикам – что привлекало их? Романтика революции? «Свобода, равенство, братство»? Карьерные интересы? Внутренний императив служить и умереть на своей земле, под чьей бы властью та ни была? Майкла одолевали вопросы. Одно стало ясно: ограничиться книгой он уже не сможет. Он ощущал это еще до прилета в Россию и утвердился в разговоре с этой женщиной и случайного знакомства со Щербининым.

Необъяснимый интерес к этому человеку возник у него с первого взгляда. Возможно, изначально это было не более чем любопытство поговорить со своим ровесником, кто родился и прожил жизнь при Советах. А может быть, интуитивное. Он и вообще привык доверять интуиции, которая, как правило, не обманывала; и, как правило, сожалел, если не доверился. И на сей раз интуиция не подвела, в чем Майкл лишний раз убедился, узнав от хозяйки «Сувениров», что отец этого продавца картин воевал на стороне красных.

Завтра они с сыном улетали, и он решил во что бы ни стало встретиться с продавцом картин. Зная, что хозяйка «Сувениров» с ним дружна, Майкл купил у нее ненужный ему мундир, по ее наводке нашел Щербинина в мастерской дочери и под предлогом того, что хочет что-нибудь купить на память о Москве, уговорил впустить их с сыном.

Пока он выбирал предложенные ему картоны, Дино разглядывал развешанные по стенам полотна и все не мог отойти от автопортрета Ольги.

Майкл купил все, что поставил продавец. Для Щербинина это была невероятная удача. На радостях он заявил, что по русскому обычаю сделку необходимо обмыть, и занялся подготовкой стола. Майкл взялся помогать, и когда позвонили в дверь, послали открыть Дино. Увидев перед собой ту самую женщину, какой любовался на портрете, Дино на миг даже утратил дар речи, а чуть позже и Ольге уже казалось, что что-то в ней екнуло, когда она услышала сквозь дверь его голос.

Они познавали и узнавали друг друга жадно, в чем-то не соглашаясь, но совпадая в главном. Когда они заехали к Щербининым домой, и Дино увидел ее последние работы, он понял, что встретился с редким талантом. Она же обнаружила в нем не только тонкого ценителя живописи, но человека, который смог понять психологическую подоплеку ее творческих поисков. Словом, если любовь с первого взгляда и существует, то это был тот случай. Они стремительно шли к близости, что и произошло бы, если б в их отсутствие отцы не «набратались», как скаламбурила Ольга.

Каламбур возник не на пустом месте. Пока Ольга знакомила Дино с жизнью ночной Москвы, отцы продолжали знакомиться друг с другом. В частности, выяснилось, что оба их отца участвовали в Октябрьских событиях в Москве в 1917 году, причем оба были у Никитских ворот, где шли самые кровопролитные бои. Как пошутил Майкл, Сам Господь отвел им руки, чтобы их сыновья могли встретиться и помянуть белого и красного отца.

За одной хозяйской настойкой последовала другая, не заметили, как стали на «ты», а закончили и вообще: «Гоша» и «Миша». Рассказывая о себе, Щербинин упомянул, что его отец незаконнорожденный, и мать отца крестьянка. Майкл взволновался, спросил, не упоминал ли отец князей Щербатовых, и поведал рассказанную княгиней Щербатовой историю, из которой вытекало, что у них, возможно, один и тот же дед – Николай Иевлев.

Из ресторана Ольга и Дино хотели ехать в квартиру Щербининых, позвонили отцами, не дозвонились и пришлось ехать в мастерскую, где нашли обоих мертвецки спящими. Майкла кое-как подняли, но тот отказывался уехать, пока не простится с братом. И пусть Ольга спросит у своего отца, если не верит. Отвезя гостей в аэропорт, Ольга насела на отца, и тому пришлось рассказать.

Щербинин вспомнил, что, когда он ездили с отцом купаться под Рузу, тот обмолвился, что у него тут жила родня. А Ольге рассказывала бабушка, что дед ее родом из-под Рузы. Под Рузой же, как выяснили, в селе Васильевское и бывшее имение Щербатовых. Когда Щербинин с дочерью туда приехали, ему даже показалось, что он узнает место, куда тогда приезжал с отцом. Выяснить что-то в ту поездку не удалось: село в войну сожгли, и узнать, жила ли там мать отца Пелагея, можно лишь в архивах, если те сохранились. Тем не менее Игорь Александрович вслед за дочерью начинал верить, что именно его бабку, красавицу Палашу, и соблазнил гостивший у Щербатовых гардемарин Николай Иевлев. И почти поверил: уж так хотелось, чтобы Миша был братом, пусть двоюродным, пусть лишь по отцам, пусть и на другом континенте.

Полных родных братьев у Игоря Александровича не было. Брата по матери он видел в последний раз до ухода в армию, а брата по отцу вообще не знал; даже не знал, живы ли эти братья, и уж конечно не испытывал родственных чувств. Братское чувство к человеку, о чьем существовании он две недели назад и не подозревал, было ново, а откровенность, с какой они не стыдясь поверяли друг другу самое-самое, могла возникнуть лишь между очень близкими людьми. Если они не были братьями по крови, то определенно – по духу.

1

Съездив на дачу и кое-что посадив, Щербинин сделал развеску Ольгиной экспозиции в галерее на Солянке и вернулся к обычным занятиям. В предыдущие хлопотные дни он об американцах почти не вспоминал. Сейчас, топчась на Арбате в ожидании покупателей, он нет-нет да и вспомнит день, когда они так славно посидели. Два противоречивых чувства попеременно завладевали им: тепло при воспоминании о Мише – и обида: пообещал сразу по возвращении прислать книгу – и пропал. Набросились дела – но как можно прилететь и все забыть! Щербинин спросил у дочери, не объявлялся ли Дино. Ольга что-то буркнула, из чего следовало, что и от Дино ничего.

Прошла еще неделя, Игорь Александрович уже не ждал, но не мог отделаться от грызущего чувства, что так лопухнулся, доверил случайному человеку какие-то сугубо интимные вещи, купившись на его, как казалось, чистосердечие, а тот, возможно, просто-напросто пересказывал сюжеты своих фильмов.

Масла в огонь подливала Римма, хозяйка «Сувениров». Она не могла успокоиться, что американцы подружились со Щербиниными и даже пригласили в Лос-Анджелес. Каждое утро она с подковыркой справлялась, пришло ли приглашение, пока наконец Щербинин не соврал, что пришло, и они полетят, как только он получит загранпаспорт.

Приходить дочери на распродажу он запретил, разве в крайнем случае. В один из дней она появилась и сияя вручила пухлый конверт.

– Что это? – ощупывая, сказал он, хотя догадался, что там обещанная книга.

– Открывай, – потребовала дочь, не переставая сиять.

– Дома открою, – буркнул он. – А что тебе? Сияешь как самовар.

– Мне… За тебя рада. Все ворчал…

Римма знала, что просто так Ольга не приходит, и, увидев ее через витрину, повернула табличку на двери на «закрыто» и подошла, снедаемая любопытством. Не отрывая глаз от конверта, она расцеловалась с Ольгой и спросила, что случилось.

– Миша книгу его отца прислал, – будничным голосом ответил Щербинин.

– Миша, – хмыкнула Римма.

– Майкл, – буднично уточнил он, сделав вид, что не понял подковырки.

– Он мне говорил, что хочет снять по книге отца фильм. Покажи!

– Потом, не хочу вскрывать.

– Ты ж не читаешь на английском, – намекнула Римма, что переводить ему будет она.

– Это на русском, – разочаровал он.

Римма покивала и вернулась в «Сувениры», дочь убежала. Оставшись наедине с конвертом, Щербинин поборолся с искушением открыть, но оставил до дома. Все приятное он любил делать с чувством, с толком, а то, что Миша, как оказалось, о нем помнит, было не просто приятно, но вернуло веру в человечество.

*

Летом у Щербининых в квартире становилось душновато, и до выезда на дачу они в основном жили в Ольгиной мастерской. Придя с распродажи, Щербинин со вкусом поел, часик придавил, выпил кофею и распечатал конверт, где кроме книги была записка.

Майкл извинялся за задержку, объяснив, что едва они прилетели в Лос-Анджелес, как улетели в Милан. Мать Дино попала в госпиталь, пребывала в депрессии, и он был с ней

Удовлетворившись объяснением, Щербинин обратился к книге. Всю суперобложку занимала репродукция: на Дворцовой площади перед Зимним море людей на коленях, и на этом фоне белыми буквами: АНДРЕЙ ИЕВЛЕВ. «БЕЛОЙ АКАЦИИ ГРОЗДЬЯ…", причем буквы в слове «гроздья» уже не чисто белые, а с красным, будто кровоточат.

«Образно, – подумал Игорь Александрович, – если понимать под „гроздьями“ белое офицерство». Он взял лупу и разглядел на балконе дворца человека в полевой форме и в бороде, догадавшись, что это Николая II, а сидящая рядом женщина – императрица.

Он раскрыл книгу. На форзаце Майкл надписал: *Когда мы вспоминали отцов, ты сказал: «Если бы они лучше целились, мы б с тобой не сидели не пили водку». Мой был отменным стрелком, а твой, полагаю, умел управляться с пулеметом. И коли они тогда не поубивали друг дружку, то, верно, для того, чтобы их сыновья встретились и в память о своих белом и красном отцах сделали фильм. Уповаю, что книга введет тебе в материал тех мятежных лет и инспирирует твою память и воображение. Твой Миша».*

Дальше шло от автора: *Сажусь писать эту книгу. Собирался давно, но не садилось, думалось – успею, и гнался, гнался за большими и малыми потрясениями, коих на XX век выпало, как ни на один доселе, и все боялся что-то важное пропустить, не запечатлеть.*

Большую часть жизни я занимаюсь кинодокументалистикой. Только что я закончил фильм о гражданской войне в Камбодже, начатой маленьким в мировом масштабе, но для своего народа не менее кровавым параноиком Пол Потом и его красными кхмерами.

Ненавижу красный цвет. Для меня он не цвет крови, несущей по жилам жизнь, но кровавый цвет смерти. А XX век, как я его представляю, – век красной паранои и красных параноиков: Владимира Ленина, Льва Троцкого, Джозефа Сталина, Адольфа Гитлера (его также причисляю к красным), и их красных последышей.

Фильм о генациде в Камбоджи – мой последний, и не только в ряду снятых мною, но последний вообще. Чувствую, годы подпирают, и достало бы времени написать эту книгу. Для чего я сажусь за нее, для кого собираюсь писать? По правде сказать, для себя. Из эгоистического желания оживить в памяти и сколько возможно вновь эмоционально пережить некогда взволновавшие меня события и попробовать понять, что было в моей жизни правильно и в чем я ошибся. И, если угодно, подвести итог: удалась ли она или не совсем. Посему постараюсь быть предельно честен с самим собой. Право, не уверен, что книга напишется, что успею и что из этого выйдет толк. Не ставя целью опубликовать книгу, не буду зарекаться, что не сделаю этого, коль скоро увижу, что описанное мною время и события могут быть интересны современному читателю. Андрей Иевлев

Перевернув страницу, Щербинин приступил к первой главе.

Все мои предки по мужской линии были из рода в род моряками – и все они со дня основания в Санкт-Петербурге Морского корпуса были его воспитанниками и служили флотскими офицерами. Мне посчастливилось и вместе не посчастливилось стать последним воспитанником этого именитого учебного заведения. Не посчастливилось в том смысле, что начавшаяся в 1914 году война с Германией и последовавшие в ходе нее социальные потрясения изменили многое в укладе корпусной жизни, смешали, скомкали, отменили ее обычаи, традиции и в конечном счете упразднили и сам Корпус.

С началом войны курс обучения в старших, специальных, классах был сокращен с трех до двух лет, и в 1914 году наряду с обычным выпуском состоялся ускоренный. Произошло это в Храмовый и корпусной праздник Морского корпуса – 6 ноября.

Традиционно в этот день Корпус посещал Государь Император. После богослужения Государь производил смотр. Затем в знаменитом Столовом зале Корпуса, самом большом бесколонном зале Санкт-Петербурга, устраивали праздничный обед. А вечером, а вечером – бал! Этим балом – с непременным присутствием высочайших особ, а случалось, самого Государя – открывался сезон петербургских балов. Так было до войны.

В корпусной праздник 1914 года бала не было, и мы даже накануне не были уверены, что сможет приехать Государь. Государь приехал. Корпус был построен в Столовом зале. Я стоял едва сдерживая восторг, всякий раз переполнявший меня перед встречей с Государем. Рядом стоял мой дружок Петька Мартынов, по прозвищу Мартын, а как еще, а меня в роте прозвали Ивой, спасибо не «плакучей» – ничего более путного из неблагодарной фамилии Иевлев образовать не смогли.

Оба мы были тогда одного роста и первое время при построениях забавлялись тем, что начинали выталкивать друг дружку и притворно спорить, кто выше. Офицер-воспитатель выводил нас из строя, ставил затылками и пытался определить по макушкам. Один день получалось, что выше Мартынов, но на другой выше оказывался я. Как нам это удавалось – воспитатель понять не мог и, потеряв терпение, назначил более высоким меня.

Познакомились мы с Мартыновым на вступительных экзаменах, и я, как коренной петербуржец, предложил показать ему город. Петр был из Москвы. Его отец преподавал тактику в Александровском пехотном училище и резонно полагал, что сын пойдет по его стопам. Но Петька о сухопутной карьере и слышать не хотел. После продолжительных баталий родители капитулировали, и мама отвезла сына в Петербург для поступления в Морской корпус.

Когда мы в тот день вышли с экзамена, нас будто прорвало, и мы уже ничего кроме друг друга не видели и говорили, говорили – о себе, о родне, о своих городах… Услыхав, что все мои предки со времен Петра Великого были моряками, Петька заявил, что все его потомки начиная с Петра Мартынова тоже будут морскими офицерами.

Не заметили, как дошли до Николаевского моста, перешли на ту сторону Невы и двинули в сторону Зимнего дворца. Что нас тогда туда понесло – одному Богу известно. Вспоминая спустя десяток лет тот день, уже в Париже, мы пришли к выводу, что в том было некое знамение скорых роковых потрясений, теснейшим образом связанных с человеком, что временами сидел в Зимнем за своим большущим рабочим столом и в меру своих способностей разгребал государственные дела, не ведая, куда и к чему он ведет Россию. Как зашел разговор о Государе – вспомнить мы так и не смогли. Говорили, перескакивая с одного на другое, как вдруг Петька неуважительно отозвался об Его Императорском Величестве. Мне кровь ударила в лицо. Заступив Мартынову дорогу, сжимая кулами, я срывающимся голосом крикнул в лицо новому знакомцу:

– Вы кто, Мартынов, – республиканец?!

– Я?! – взъерепенился Петька. – Да я…

– Может быть, вы, Мартынов, социалист? – глазом следователя вперился я в него.

– Да я монархист еще побольше вас! – заорал Петька на всю Английскую набережную. – И уж побольше вашего Николашки! Кто Думу допустил, а?! Кто…

– Что-что-о?! – вспетушился я. – Как вы назвали Государя? Вот как вздую!..

– Ни-ко-лашка! Про-мо-кашка! Ни-ко-лаш…

Мне все застило от ярости, и я ударил вслепую. Петька взвыл, схватился за глаз и тоже наугад ткнул кулаком, на который я наткнулся носом. Из носа хлынуло, заливая рот, подбородок, полилось на панель… Я зажал пальцами ноздри, запрокинул голову и свободной рукой полез в карман за платком, который оказался в другом кармане. Пока я пытался извлечь платок все той же рукой, так как другая была в крови, Петька достал свой и предложил:

– Возьмите мой, он чистый.

Я взял и приложил.

– Гляньте, может, перестало? – спустя какое-то время осведомился он.

Я глянул. Кровить вроде перестало. Я посмотрел на платок, на Петьку, сказал:

– Спасибо. Я вам завтра новый принесу. А хотите, возьми мой, я в него не сморкался.

Петька отмахнулся. Я участливо попросил его показать глаз. Он отнял руку. Под глазом расползался здоровый бордовый синяк.

– Ну что? – осведомился он. – Фонарь будет?

– Уже горит. А у меня что?

– А у вас нос как картофелина. Холод бы приложить

– Пойдемте, у меня есть на две порции.

– Мороженного? – уточнил он. – А от глаза – оттянет?

– Непременно.

Дальше к Зимнему мы не пошли, а свернули на Невский за «холодом».

– Если хотите со мной дружить, никогда больше не говорите о Государе дурно, – предупредил я.

Больше Петка не называл Его Величество «николашкой-промокашкой», да и вообще старался впрямую не упоминать, но бил очевидностями и резонами.

– А почему, вы думаете, мы япошкам войну проиграли? – вопрошал он.

Первое время я пытался отстоять Государя:

– Ну как, напали без объявления…

– Они за три дня с Россией отношения разорвали – это ль не объявление? А перед тем всех своих япошек из Порт-Артура эвакуировали, кто там жил.

– Государю не доложили.

– Что Япония дипломатические отношения порвала?

Что на это скажешь. Разумеется Государь знал. И военный и морской министры знали. А суда в Порт-Артуре как ни в чем не бывало продолжали стоять на внешнем рейде, да еще с огнями, чтоб япошкам орудия лучше наводить.

– А что япошки современные корабли в Англии заказали? Моряков там обучают?..

– С нашими моряками все равно не сравнить!

– С нашими не сравнить, да только на старых калошах много не навоюешь.

– Это наш флот – «старые калоши»?! Да мы по всем статьям…

– На бумаге! Которыми генералы очки втирали. В скорости – уступали, в маневре, по огню уступали… Ваш отец вам не рассказывал? Вы говорили, он с Колчаком вместе в Порт-Артуре воевал…

Когда это было – мне и Петьке не было и шести. Я смутно помнил, как отец пришел с войны и уж совсем не помнил его рассказов. Петька же знал о войне так, как будто сам в ней участвовал, причем сразу и на суше, и на море.

– Да, они мины с миноносца «Сердитый» ставили, – подтвердил я слышанным когда-то от маменьки. – На них тогда япошкин крейсер подорвался, «Тахосадо». Отца за это наградили Святой Анной. С надписью «За храбрость».

– У моего тоже Святая Анна, – не преминул похвастать Петька. – С мечами и бантом!

– А у моего Владимир с мечами и бантом!

– А у моего еще Станислав с мечами. Только он его не хотел принимать – товарищи уговорили.

– Орден не хотел принимать?! – изумился я.

– Ну да. Станиславом его за Ляоян наградили, а он не хотел принимать награду из рук Куропатки, ну генерала Куропаткина. Помните сражение у Ляояна?

Я не мог помнить чего не знал, но по звучанию сообразил, что в Маньчжурии.

– Ну, в Маньчжурии…

– Ну да. У наших там был перевес и в численности, и в вооружении… Япошки несли большие потери. Их маршал – забыл, как его… дал приказ отступить. Но тут выяснилось, что наш доблестный генерал его обогнал и уже отступает сам. А? Каково?

– Врете! – невольно вырвалось у меня.

– А вы не знали? Его бы судить, а его даже с должности не сняли. Чтобы он еще под Мукденом обкакался. У нас там было 330 тысяч против 270 у япошек. В пятьдесят тысяч перевес! А Куропатка и это сражение прокакал. Такие генералы на службе были. А Стессель? Бездарь и трус! Как и его покровитель. Порт-Артур пять месяцев геройски держался! А…

– Вы кого имеете в виду под покровителем? – ощетинился было я, подумав, что Петька снова намекает на Государя.

– Куропатку – кого! Он Стесселю покровительствовал. Япошки четыре раза крепость штурмовали – не могли взять. Там всего было довольно: и провианта, и боеприпасов. Все хотели драться. Еще б немножко, и япошки сдохли. А Стессель, гад, берет и сдает крепость. Вся Россия тогда ахнула…

– Да за такое расстрелять мало! – возмутился я.

– Его и приговорили, – хмыкнул Петька. – А Государь заменил ему на десять лет. А через год выпустили, да еще и пенсию назначили. За какие заслуги такие милости? А как, вы думаете, мог такой трус сам решиться сдать крепость?

Я прекрасно понимал, куда Мартынов клонит, и попытался отвести огонь:

– Ну, ему, верно, Куропаткин приказал.

На что Петька выразительно сплюнул и перевел разговор на Цусиму, где посланная Государем эскадра была наголову разбита японцами. Это я знал опять же не от отца.

Отец дома почти не бывал. Квартиру мы снимали в доходном доме по 20-й линии Васильевского острова. Отец появлялся шумный, радостный, и все сразу наполнялась светом от зажженных повсюду ламп, от надраенной посуды, в которой кухарка готовила любимую отцовскую уху, но больше всего от сияющей счастьем маменьки. Поцеловав ее, он подбрасывал в воздух Аню, пожимал руку мне, как бы проверяя ее крепость, и вручал всем подарки. Маменьке обычно что-нибудь финское из того, что не ввозилось в Россию, или найденный на пляже в Ревеле кусок янтаря, похожий на зверюшку, или просто смешную сосульку, отломанную с водосточной трубы на подходе к дому, – но неизменно нежное, трогательное. А мне он однажды привез настоящий фотографический аппарат, как он пошутил, «шпионский», всего 4,7 на 4,7 дециметра. Это было еще до Корпуса, в первом классе гимназии, и стало моим увлечением, которое во многом определило мою последующую жизнь.

После обеда отец заводил меня в свой кабинет и распрашивал об учебе, а вернее, экзаменовал по тем дисциплинам, какие я в данное время изучал – сначала в гимназии, а потом в Корпусе. Последним и самым строгим экзаменом был танец. Это объяснялось двумя обстоятельствами.

Традиционно умение хорошо танцевать было в Морском корпусе в чести. Лучшему танцору на корпусном балу вручали голубой бант, а к годовой оценке добавляли 12 баллов. Вторым, а по важности первым, обстоятельством явилось то, что обладателем голубого банта на балу 6 ноября 1897 года стал гардемарин Николай Иевлев, танцуя котильон с воспитанницей Смольненского института благородных девиц Машенькой Волковой, дочерью контр-адмирала Александра Михайловича Волкова, участника русско-турецкой войны. Это был первый раз, когда моя будущая маменька пришла на бал в Морской корпус, и первый танец с будущим мужем, и первая любовь с первого взгляда.

Отец созывал всех в залу, заводил граммофон…

Про граммофон стоит сказать отдельно. Это был аппарат известной фирмы «His master's voice», на эмблеме которой изображен терьер, слушающий перед раструбом граммофона голос хозяина. И не было, пожалуй, в нашем доме предмета святее, ибо даже иконы доверялось протирать прислуге, но пыль с граммофона маменька сметала непременно сама – легкими касаниями метелочки из страусовых перьев. Метелочку отец, как он сказал, привез из плавания, а возможно, просто купил в питерской лавчонке – на него это похоже.

Итак, отец ставил пластинку, и я с маменькой демонстрировали мои успехи в танцах. Отец делал замечания и танцуя с маменькой показывал, как правильно. На том они уходили в спальню, а на утро он исчезал в очередной Кронштадт, Выборг, Або…

– Служба, увы! – как бы оправдывался он и, подслащивая пилюлю, добавлял: – А служи я на судне, – возможно, и по полгода не видались!»

Служил он в Морском генеральном штабе, куда в 1906-м (как раз когда родилась Аня) позвал отца Колчак. А в 1912-м, после окончания отцом Николаевской морской академии, Колчак снова позвал его – в Штаб Балтийского флота в Гельсингфорсе. Теперь мы видели его практически только летом, когда переезжали в Гельсингфорс на дачу. Собственно, это была даже не дача, а теплый домик, где постоянно жили мои дедушка и бабушка. Маменька увозила нас с сестрой, едва у меня заканчивались экзамены в гимназии, а когда я поступил Корпус, я присоединялся к ним в августе, после учебного плавания.

Этого момента я ждал с великим нетерпением. Дело в том, что в Гельсингфорсе снимали дачи многие офицеры, и у меня там были товарищи, приезжавшие с мамами из года в год. Но больше всего я любил проводить время с дедом, капитаном 1-го ранга в отставке – тоже Николаем, но Андреевичем Иевлевым. Еще до поступления меня в Корпус дед обучал меня всякческим морским премудростям – грести, управлять баркасом под парусами, обращению с компасом, а попозже – обхождению с барышнями, в чем, по словам бабушки, был дока.

Другие мои дед и бабушка жили в пригороде Петербурга – Ораниенбауме. По воскресеньям маменька обычно ехала с нами их навещать. Я любил их, но тяготился частыми визитами и необходимостью выслушиваешь политические воззрения контр-адмирала – не в пример разговорам о барышнях с дедом Николаем. После чая с бабушкиными пирогами, которая та пекла к нашему приезду, бабушка занималась с Аней рукоделием, а дед уводил меня и маменьку в беседку, а зимой и в непогоду в свой вечно заваленный газетами кабинет и принимался честить всех, кто, по его разумению, ведет нынче подкоп под трон. «Что искони случалось с Россией, когда трон шатался и падал? – вопрошал он голосом, привыкшим перекрывать ветра. – Падала и Россия. Что сталось с цветущей Киевской Русью? Что сделалось после Всеволода Большое Гнездо? А что началось после царя Грозного – и давеча, в пятом, чуть опять не случилось? И случится еще, помяните мое слово, ежели не… ежели не… ежели не…» Тираду эту с некоторыми вариациями дед повторял из воскресенья в вокресенье, меняя лишь «героев дня». Маменька притворялась, что слушает, а сама украдкой следила, чтобы я не зевал, не клевал носом, не считал ворон, не грыз ногти, а тем более не ковырял в носу. Подходя к кульминации своей речи, к Григорию Распутину, адмирал гремел уже на весь Ораниенбаум:

– Что наш Государь – ослеп?! оглох?! Не видит, кого приблизил к себе? Не слышит, что ропщет народ? И ежели он сам не уберет от себя этого проходимца! развратника! народ сделает это за него! Но уже вместе с троном.

На этом месте маменька обычно улыбалась и замечала отцу, что тот своим орудийным голосом может распугать всю свою свиту. Под «свитой» она имела в виду прикормленных адмиралом чаек, наглых, разжиревших, похожих на индюков, вперевалку расхаживающих по дорожкам сада и дожидающих, когда кухарка вынесет им еду. Адмиралу они, должно быть, напоминали тех вольных птиц, что провожали и встречали его судно, когда он стоял на мостике. Я же их терпеть не мог и украдкой от деда шугал, приговаривая: «А ну пошли в залив! Рыбу ловить! Разожрались тут, дармоеды, в воздух подняться не можете! Пошли, пошли!..» Птицы недовольно вскрикивали, отпрыгивали и продолжали дожидаться объедков с барского стола.

Сколько я помню, маменька ни разу не возразила отцу, но едва на обратном пути из Ораниенбаума мы оставались одни, она принималась с горячностью шептать:

– Ты не слушай, что говорит дед! Он старый человек. И голова у него уже не та. Ко всему он буквально помешался на этой политике…

Как большинство выходцев из потомственных флотских и армейских семей, маменька была воспитана в духе монархизма, но в отличие от большинства – ее монархизм шел исключительно от сердца, от ее религиозности, которая с годами усиливалась из-за измен моего отца. Кроткая по натуре, она смиренно сносила его несчетных женщин, не осуждая ни словом, ни видом, а только молилась за него, убежденная, что, раз ей избран в мужья такой Николай Иевлев, то в этом есть некий высший смысл. Нечто схожее было у нее и в восприятии царствующей династии. Показателен один из ее рассказов, слышанный мною еще в детстве.

Маменька тогда уподобила Россию исполинскому кораблю, на котором после Ивана Грозного, державшего команду в узде, настала великая смута. Люди видели, что раздоры вот-вот разнесут корабль, но в своих рознях и распрях не могли сами себя остановить. Стали думать, кого поставить на капитанский мостик, но такого, кого все послушают. Это должен быть человек, какой не только своим, но, еще важней, авторитетом своего рода способен привести всех к согласию. Немало было родов знатных, в том числе уже царствовавших ранее Рюриковичей, но не нашлось ни одного без червоточены – чтобы стать нравственным авторитетом для всех. Тогда взоры обратили на род не столь знатный, но известный добрыми делами и службой отечеству, – род бояр Романовых. И на всем огромном корабле не нашлось ни одного, кто бы бросил в Романовых камень. На том и сошлись, доверив корабль единственному Романову, кто мог встать на мостик, юному и болезному Михаилу. Но не устрашились. И не обманулись. Вывел он корабль из смуты – и не расправами, а согласием, единив команду вкруг себя.

– Удивительно, не правда ли, – с воодушевлением продолжала маменька, – что дотоле непримиримые примирились этим родом? И как смог болезный, не искушенный в интригах юноша удержать престол и положить начало династии, что вот уже 300 лет радеет о нас, обо всей земле нашей многострадальной?..

Помню, что я тогда ей ответил:

– Верно, Боженька помог?

– Верно, верно, Андрюша! – еще больше воодушевилась она. – Провидение вверило нас этому роду и дало Михаилу силу исполнять Божью Волю. – С этим она повернулась к образу Николая Угодника и перекрестилась.

Убежденность ее, что Романовы поставлены на престол Провидением, передалась и мне. И, подобно ей, я воспринимал Государя душой, не смея обсуждать, а тем более осуждать его деяния, ибо это бы означало осуждать Божий Промысл. Не то чтобы я обожествлял Государя, но, как многие живут с оглядкой на Бога, так я сверял свои поступки и мысли с оглядкой на Государя: «А как на это посмотрит Государь? А угодно ли ему то-то? А похвалил бы он меня за это? Ах, как дурно я подумал! Как стыдно!..»

Но если детство и отрочество мои проходили под влиянием маменьки, то Петька рос в постоянном общении с отцом. Как и маменька, Петькин отец принимал монархию как данность, и другой данности не могло быть, потому что не могло быть. Но в отличие от маменьки он смотрел на самодержавие как на принцип армейского единоначалия, а на монарха, пусть и помазанного на царство, как на простого смертного, которого, если тот не справляется, должно заменить. Каким образом – на этот вопрос у Петькиного отца ответа не было. Различие во взглядах наших родителей отлилось мне тогда расквашенным носом, Петьке – подбитым глазом, и обоим – осипшими на следующий день глотками. Тогда же, за поглощением мороженого, я пояснил Мартынову свою позицию:

– Полагаю, вы не станете отрицать, что государи получает власть от Бога?

– Допустим, – уклончиво отвечал он.

– И исполняют Волю Бога?..

Петька усмехнулся:

– А если не Бога?

– А чью ж еще?

– Ну, императрицы, к примеру.

– Алексаны Федровны?

– Да обеих, вдовствующей тоже. Министров, Гришки Распутника…

– Так может, на то и есть Божья Воля? Или вы, Мартынов, полагаете, что никому – но вам дано знать Божий Промысл?

Петька не нашелся, хотя вступи я с ним в конкретный спор, он бы меня расчихвостил в пух и прах. Осведомленность его в политике ошеломила даже контр-адмирала, когда однажды я пригласил Петьку с нами в Ораниенбаум. Петька знал о политической жизни, кажется, все: всех деятелей, партии, течения, кто с кем и против кого – и не из газет, как дед, а, можно сказать, из первых рук.

«Первыми руками» служил дом его тетки, сестры отца, Софьи Петровны Верейской, известной петербуржской красавицы, бывшей замужем за профессором университета, который одновременно преподавал и в Пажеском корпусе. Верейские часто бывали при дворе, а в доме можно было встретить и премьер-министра, и члена Государственного совета, и сенатора, и депутата Думы, а случалось и августейщую особу. Однажды Петька имел честь беседовать с великим князем Николай Николаевичем. Петька сказал, что они говорили целый час. Загнул, конечно. Возможно, великий князь походя погладил мальчика по голове и сказал «молодец, кадет», а Петька рявкнул «рад стараться, ваше величество», вся беседа. Но факт, что Николай Николаевич после этого стал у Мартына вторым кумиром, потеснив даже первого – Императора Александра III.

Я сбился, сколько раз Петька повторял, что Александр III разгибал подкову, завязывал узлом кочергу и держал крышу вагона, когда царский поезд потерпел крушение. «Во был Государь, сила!» – заключал он, а в подтексте, что царствующий сын не «во» и не «сила».

Петька жил у тетки несколько месяцев, когда поступал в Корпус, и теперь приходил к Верейским в отпускные дни, по сути это стал его дом. В один из таких дней он читал книжку в огромной профессорской библиотек, когда туда вошли, продолжая начатый ранее разговор, и Петька понял, что они обсуждают животрепещущую политическую проблему – и не просто обсуждают, а приватным образом договариваются о совместных шагах. Петька таился за стеллажами и, когда все вышли, выбрался из библиотеки и постарался выяснить, кто туда заходил. Ими оказались два известных государственных деятеля, что публично друг друга не переносили, но без свидетелей позволили себе быть друзьями. Впредь Петька забирался в библиотеку уже специально и со временем обнаглел до того, что не прятался за стеллажами, а открыто сидел над книгой, делая вид, что увлечен чтением, и, как оказалось, никого своим присутствием не смущал. Ну какое делое подростку до высокой политики, да и что он в ней смыслит! Но подросток смыслил – и очень даже неплохо смыслил. Откуда и с чего у него возник этот интерес, Петька и сам не знал, но очень рано, возможно, в то утро, когда зазвенел дверной колокольчик, и Петька, высуновшись в прихожую, увидел грязного, заросшего, с ввалившимися глазами офицера, с которого прислуга снимала шинель. Из своей комнаты выглянула мама, Анна Ивановна, всплеснула руками, вскликнула:

– Сережа! – И кинулась офицеру на шею.

– Анночка, Анночка, – счастливо бормотал тот, пытаясь, однако, ее отстранить. – Осторожно, у меня вши.

Отец вернулся с японской войны с твердым убеждением в неспособности Николая II править государством. Из того, что отец рассказывал его матушке, Петька понял, что отец гневится за что-то на Государя, что-то очень важное, что касается и мамы, и дворника Шакирки, и самого Петьки, но что это что-то – понять не мог.

– Что делает Государь, вместо того чтобы управлять государством? – негодовал отец. – Пытается одной заднищей усидеть на двух стульях. В правительстве – чехарда! В армии – бордель!..

Мать сделала страшное лицо, но было поздно: любознательный сын уже спрашивал:

– А что такое «бордель»?

– Бордель, ну… – смущенно хихикнул отец.

– Беспорядок, – выручила его Анна Ивановна. – Но лучше это слово не употреблять.

– Почему? – не удовлетворился Петька.

Анна Ивановна беспомощно взглянула на мужа, и тут уже он пришел ей на выручку:

– Это грубое слово, Петр. Его употребляют в окопах солдаты, когда их морят голодом, когда нечем стрелять и заедает вошь. Но дворянину употреблять подобные слова не пристало. Прошу меня простить. Ясно?

Петька буркнул, что ясно, и отец вернулся к прерванной теме:

– Да разве б Александр проиграл войну этим макакам? При нем они сунуться не смели! Никто не смел. Вот Государь! Под стать матушке-России. А этот… Нет, не по Сеньке шапка. Хоть бы что-то взял от отца помимо престола, хотя бы малость!..

– Да разве ж он виноват, что родился Николаем Вторым, а не Александром Третьим? – вступилась за Государя Анна Ивановна. – Может, он и не хотел престол принимать…

– Ну и не принимал бы, коли не хотел.

– Да как не принять, Сережа? Цесаревич! Наследник! Мыслимое ли дело? Если бы Акт о престолонаследии не соблюдался – вот уж воистину была б у нас чехарда!

Суконные слова «акт», «престолонаследие» в шестилетнюю Петькину голову не лезли, и он глазел в окно, как дворник Шакирка, в белом дворницком фартуке, сгребает навоз, оставленный проехавшими по их Нащокинскому переулку экипажами.

– Говоришь, «мыслимое ли дело» – мыслимое! Было в нашей истории, вспомни. Когда Великий Князь Константин Палыч отрекся, и Александр Первый это признал.

– Но Константин еще не был Государем Императором? – пробовала возразить жена.

– Верно! И Николай не был Императором – ведь не отрекся же? А нынче сам Верховная Власть. Сам законодатель, сам исполнитель, сам себе судья. Кто ж ему мешает, как Павлу, издать свой Акт? И уходи на здоровье. Передай власть, допустим, великому князю Николай Николаичу – чем не Государь, а? А сам – живи в спокойствии, наслаждайся своими детишками, своей немочкой… Нет ведь, не уходит.

– Ты не справедлив к Государю! Я понимаю, война тебя озлобила. Все мои знакомые, кто имел счастье Его Величество видеть, отзываются о нем как о милейшем человеке.

– Я не отрицаю. Только это не профессия. Как говорят немцы, «Ein guter mensch aber ein schlechter musikant», хороший человек, но плохой музыкант. Императрица это знает и дирижирует им. На пользу ли России? Которую не поняла, не приняла, не полюбила. А он ее немецкой музыки не слышит. Ты его, Анночка, защищаешь, а скажи… Мыслимое ли дело, что государством правит у нас подкаблучник? Да еще Россией!..

Здесь Петька отвлекся от окна и спросил:

– А что такое подкаблучник?

– Подкаблучник? Э-э… Это когда мужчина под каблуком у жены.

– А как это – под каблуком? – не понял Петька.

Отец посмотрел на Анну Ивановну, которая понятия не имела, как объяснить сыну.

– Быть под каблуком… – соображал отец, – это… Вот представь: я сажусь на коня, да? Как я им управляю? С помощью чего?

– Уздечкой, – недоумевая, ответил Петька.

– Верно. А еще у меня что?

– Стек.

– Молодцом! Ну а еще, еще? На сапогах?

– Шпоры?

– Во-о-т! У мужчины на сапогах – шпоры. А у женщины на туфлях…

– Что?..

– Я тебя спрашиваю – что.

– Каблуки?

– Каблуки.

Петька морщил лоб, стараясь осмыслить, но так и не осмыслил и спросил:

– А как же каблуками управлять?

– Так же, как шпорами. Сядет жена на мужа да как даст каблуки ему по бокам!.. Видел, какие у мамы каблуки, когда мы в театр или в оперу едем?

– А разве вы не на извозчике?.. – удивился Петька – или сделал вид. Похоже, это была его первая в жизни острота, и родители расхохотались. Сам Петка хохотал громче всех, пока с годами не понял, что смеяться над своими остротами не стоит: тогда смешнее.

Однако вернусь в Храмовый день 6 ноября 1914 года. Все было как и в прошлом, и в позапрошлом 1912 году, когда я впервые стоял в парадном строю по случаю корпусного праздника. Те же стройные коробки кадетских и гардемаринских рот, свет всех восьми включаемых в этот день люстр, расцвеченный флагами полуразмерный бриг «Наварин» у дальней стены, а на хорах духовой оркестр, готовый при появлении Государя грянуть марш. Все было то же и уже не то, окрашенное обертоном войны. И не оттого что парадную форму сменила походная, а что-то изменилось во мне самом. Привычка, что завтрашний день будет таким, как сегодня, потому что сегодняшний такой, как вчера, уступила место зыбкости всего дорогого, что пока у тебя есть, но не сегодня-завтра уйдет, а на смену придет война. Уже к тебе лично! Как пришла к толпам голосящих баб и детей на вокзалах, провожающих мобилизованных мужей, братьев, отцов, сыновей. Как пришла к раненым, которых везут и везут, и в Петрограде уже некуда их класть. Возможно, и тебя скоро ранят, а то и убьют. И неизвестно, что лучше: геройски погибнуть или вернуться увечным. И в том и в другом свои минусы и плюсы. Но даже если Боженька смилостивится, и отделаешься, допустим, хромотой – в чем есть свой шарм, как лорд Байрон… Но все равно уж не танцевать! А тогда где встретить Ее?

Сколько раз, засыпая, я представлял свою избраннцу. Предметом чувственных грез стала Аста Нильсен. На фильму «Ангелочек» с ее участием я ходил раз десять, и все десять раз со щекочущим холодком в мошонке дожидался, когда героиня начнет подниматься по лестнице, и на миг из-под юбки мелькнет ее подвязка. В эту секунду у публики вырывалось «ах», а я краснел в темноте до слез. Кончилось это полюцией. Проснулся еще под впечатлением, но вместо прекрасной датчанки увидел себя в роте и тут же почувствовал мокрое. О, черт… Боже мой, завтра ж – сегодня! банный день. Смена белья. Утром все надо снять и положить поверх одеяла. Боже, какой позор! Я отвернул одеяло, согнул ноги и повесил простыню промокшим местом на колени сохнуть. Слава Богу, все спали. Но кто-то мог встать в гальюн, или войдет дежурный и решит поправить одеяло… Наконец мокрое высохло затвердевшей коркой, я принялся это место мять, тереть, – по счастию, следа на простыне почти не осталось. Я успокоился и заулыбался, вспоминая, в каком виде ангелочек мне приснилась. А жаль, что не наяву! Но женился бы я на ней? Нет… Нет-нет.

Образ супруги рисовался мне также не без воздействия кинематографа и от фильмы к фильме менялся, становясь то Софьей Гославской, то Лилиан Гиш и конечно ж, и не раз, Мэри Пикфорд. Неизменными оставались лишь обстоятельства, при которых я ее встречу: на корпусном балу, как было у отца с маменькой. И непременно, непременно мы будем танцевать вальс. Я уже сейчас считаюсь лучшим танцором в роте и, по словам танцмейстера, танцую вальс, как никто в Корпусе. Вот что в свалившейся на меня войне было, пожалуй, самое досадное: что я уж никогда-никогда не завоюю голубой бант.

В первые недели войны многие были убеждены, что Германию разобьют в считанные месяцы, и наши войска победно войдут в Берлин. Я, разом вдруг повзлослевший, в скорое окончание войны не верил. Как-то в курилке мы столкнулись с одним заносчивым типом из младшей гардемаринской роты.

– Как насчет повоевать, господа кадеты? – снисходительно заговорил он. – Горите желанием встать на защиту обожаемого монарха и Родины? Или намерены стирать подметки на строевой, пока ваши товарищи сражаются с германцем?

– Вы что, в добровольцы записываете? – с притворным энтузиазмом спросил Петька.

– Записать? Молодцом! – Он достал карандаш. – Как ваша фамилия?

Понятно, что никуда он не записывает, а сейчас придет в свою роту и станет хвастать, как ловко он разыграл желторотых «рябчиков».

– Ива, ты, случаем, не помнишь мою фамилию? – наморщил лоб Петька.

– Да я, Мартын, и свою не помню, – как бы оправдываясь, сказал я.

– Должно быть, Мартынов? – предположил «вербовщик».

– Да какой он Мартынов! – возразил я.

– А вы, кадет?

– Я тоже не Мартынов. Честное кадетское.

Разговор «вербовщику» явно не задался и он уже не знал, как выйти с честью.

– Постыдились бы, право, так себя вести со старшими. Станете гардемаринами…

– Станем гардемаринами, – не дал договорить ему я, – сразу к вам и запишемся.

– Младшими гардемаринами, – подправил Петька.

– Пока станете – война кончится, – не сразу нашелся младший гардемарин.

– Без нас не кончится, – заверил я.

– Ка-ак! Господа кадеты не верят в скорую победу доблестной русской армии? Сеют пораженческие настроения в стенах Морского корпуса?! Придется доложить.

Я хмыкнул и, кивком указав на него, подмигнул Петьке:

– Первый на очередь.

– Какую еще очередь? – насторожился гардемарин.

– На замурование.

Не найдя ничего лучшего, гардемарин глуповато хихикнул, загасил папиросу и ретировался. В Корпусе жила легенда, что якобы, когда в здании что-то перестраивали, обнаружили в стене гардемарина, замурованного, по преданию, за донос, – что с покон веку считалось в корпусном братстве тяжким грехом.

– Как его в Корпус взяли, не понимаю! – сказал Петька.

– В семье не без урода, – отмахнулся я и сплюнул.

Справедливости ради стоит сказать, что спроси он нас всерьез, а не покуражиться, мы бы ему всерьез и ответили. Мысль о том, чтобы податься в действующих флот, мы обсудили и отвергли еще до того, как грянула война, но все уже во всю говорили.

О подготовке к всеобщей мобилизации Петр узнал в доме тетки. У нас была летняя практика в Кронштадте, когда сербский террорист застрелил в Сараево наследника австро-венгерского престола. Никто в роте не придал этому значения, кроме Петьки.

– Дело пахнет керосином, – сказал он мне. – Если австрияки попрут на Сербию, войны нам не избежать.

– А мы тут при чем? – хмыкнул я.

– Заступимся за братьев-славян.

Через неделю мы снялись с якоря и ушли в крейсерство к Гельсингфорсу, где должны были стать на рейде. Я надеялся, что удастся повидать маменьку и Аню, которые уже там на даче, но главное – хотел познакомить Петьку с дедом Николаем Андреевичем, а возможно, наконец-то и с отцом. Как вдруг, уже на подходе к Гельсингфорсу, без всяких объяснений, нас

разворачивают и возвращают в Кронштадт. Пошли догадки: кто-то из команды заболел, и всех возвращают на карантин; течь в корпусе… Странно, но ничего не знали и офицеры. На этом странности не закончились. По приходе в Кронштадт кадета Мартынова вызвали к командиру учебного отряда. Вернулся Петька сам не свой. Получена телеграмма от помощника Морского министра с предписанием предоставить кадету Петру Мартынову недельный отпуск «семейным причинам».

– Смотри какая важная персона! – решил я подбодрить его шуткой. – А может, нас и из плавания завернули по твоим «семейным причинам»?

Петька посмотрел долгим взглядом, в глазах у него стояли слезы.

– Как ты можешь, Ива… У меня, может, папа или мама при смерти или умер уже…

– Так бы и телеграфировали! А не по семейным причинам. Может, разводятся?

– Папа с мамой?!

– Или мама с папой.

– Да они любят друг друга! Их только смерть может развести! Даже смешно.

Я хотел сказать, что мои папа с мамой тоже любят друг друга, что не мешает отцу изменять ей направо и налево. Но вместо этого сказал:

– Всякое бывает.

Через неделю Петька вернулся, невеселый.

– Не угадал, не разводятся, – мрачно усмехнулся он.

– А что?

Он мялся, верно, очень хотелось сказать, но что-то удерживало.

– Не обижайся, не могу сказать. Отец взял с меня слово. Сам узнаешь. всех коснется.

Я не стал выведывать и до вечера ломал голову, что это, что может коснуться всех, а стало быть, и меня. Вечером Петька сам не выдержал, увел меня на корму, проверил, не могут ли нас слышать, взял с меня клятву, что я никому, и наконец горячо зашептал:

– Как я и полагал, Ива, вот-вот война. Государь уже подписал Указ о всеобщей мобилизации, но пока задерживает. Но подготовка идет во всю. Отец подал рапорт с просьбой направить в действующую армию. Директор училища не хотел его отпускать, но отец сказал, что с его опытом он больше пользы принесет на фронте. Его назначили начальником штаба в полк, который сейчас формируется для отправки в Пруссию. Он позвонил тете Софье, и ее муж попросил помощника адмирала Григоровича, чтобы меня отпустили попрощаться. Ива, никому, понял? – в какой раз предупредил он. – Твой отец в Штабе флота, он, верно, тоже знает, но сам у него не спрашивай. Понял?

А спустя неделю всех до срока уволили в летний отпуск.

– Понял почему? – заговорщицки шепнул Петька.

Я позвал его поехать со мной на дачу в Гельсингфорс, но Петр сказзал – мама теперь одна, и он должен сопровождать ее в их имение в Орловской губерниии.

Вернувшись из Кронштадта, мы заскочили в Корпус кое-что взять, и я поехал проводить Мартына на Николаевский вокзал. Он боялся, что в любую минуту объявят войну, начнется паника, и тогда на московский поезд не попасть. Помахав отходящему поезду, я вышел на площадь и стал ждать трамвай на Васильевский. Было тоскливо и как-то не по себе. Дома, кроме Таси, прислуги, никого не было, и когда подошел вагон, я не поехал, а пошел по Невскому, решив зайти в новый кинематограф «Парижиана», где я еще не был. Шла комедия с участием Макса Линдера. После фильмы настороение улучшилось. Неужели война? Не может быть, а то, что формируют части – верно, для острастки.

Выйдя из кинематографа, я стал искать хоть какие-то приметы надвигающейся войны. Нет, гуляющая вечерняя толпа, беззаботные лица, смех, крики лихачей, кваканье автомобильных клаксонов… В ресторане Соловьева банкет. Расфранченные мужчины высаживают из экипажей и авто роскошных дам, кутающих плечи в паланиты (июль с этом году

холодный, да и все лето не ах). Неужто завтра эти же мужчины натянут полевую форму и пойдут убивать других мужчин, а многие сами будут убиты, и эти же женщины станут убиваться, оплакивая их? Нет, в мозгу это не укладывалось!

К дому я подошел уже достаточно поздно. Поднявшись к себе на второй этаж, я услышал сквозь дверь звуки граммофона. Маменька! Отец знает, что будет война и забрал маменьку и Аню с дачи. Отомкнув дверь своим ключом, я вошел и услышал из залы женский смех, но смеялась не маменька. О Боже, отец привел женщину! Войти и увидеть его с ней? Только не это. Я повернулся, чтобы тихонько выйти, и задел вешалку, которая со стуком опрокинулась на пол. Черт! Смех оборвался, и прежде чем я успел отворить дверь, испуганный голос Таси:

– Ой, вы? А я вас и не ждала.

– Я сам не ждал, что… – Я замолчал, увидев за спиной у прислуги какого-то малого.

– Это Федор, – залепетала она, – односельчанин мой, мамка ему и адрес дала. Он в Питере недавно, на Обуховском устроился. Да ты иди, Федь, иди, иди, я буду Андрей Николаича кормить.

– Да нет, отчего ж, пусть… Я не голоден.

– Да пора уж, ему рано вставать. – И она выразительно глянула на парня.

– Шибко рано, – закивал он, улыбнувшись мне, и стал что-то искать на полу.

Я зажег свет и поставил вешалку. Федор подобрал с пола картуз, помял в руках:

– Ну, стало быть, это, Таисия, бывай. – И поглядел на меня. – Уж извиняйте нас.

– За что ж извинять? – улыбнулся я. – Разве ж вы в чем виноваты?

– Иди, иди, Федя, бывай. – Она легонько подтолкнула парня к дверям и, затворив за ним, виновато улыбнулась: – Вы уж не серчайте на меня, Андрей Николаич.

– Помилуй, это я, мне следовало вперед позвонить. Я не думал, что ты не одна.

Она вызывающе хмыкнула:

– Что я, по-вашему, уродина? что у меня никого и быть не может.

Я поглядел на нее:

– Да нет, вовсе ты… А, а, а совсем даже напротив!

Впервые я посмотрел на нее не как на прислугу и увидел, что она отнюдь недурна и старше-то на каких-то три года – в сентябре мне будет уже шестнадцать. Она чуть смутилась от моего нового взгляда, я понял, что она поняла, и покраснел.

– Ну, не хотите кушать, давайте чай пить. С пирожным.

От чая с пирожными я не отказался, хотя понимал, что пирожные предназначались не мне, но это вроде как мой трофей. Когда попили чай, она просительно сказала:

– Андрей Николаич, вы уж про граммофон-то не сказывайте? Я только показать ему. А то Марисана осерчает и уволит меня. А мне мамке деньги в деревню…

Я успокоил ее, что все останется между ними и, пожелав покойной ночи, ушел к себе. Перед тем как лечь, сорвал с календаря на 1914 год все не сорванные за летнюю практику листки, остановился перед 13 июля, подумал, что воскресенье еще не кончилось, срывать не стал, лег и сразу уснул.

В понедельник я носился по магазинам, запасаясь пленкой и реактивами, чтобы взять в Гельсингфорс. На прошлый день рождения отец подарил мне аппарат «Kodak Brownie» на смену тому, что он назвал «шпионским». «Шпионский» теперь выглядел как комод и к тому же снимал на пластинки, а новый – на рулонную пленку. «Кодак» пользовался таким спросом, что американцы открыли в Питере пункты по зарядке и обработке пленки. Я делал все сам – и не потому даже, что услуги стоили безумных денег, а мне нравилось с этим возиться, как Петьке нравилось часами просиживать у тетки, слушая о политике.

По совету Петьки, я (на случай, если с войной поставки прервутся) накупил всего на все деньги, что у меня имелись, оставив только на подарки для Гельсингфорса.

Во вторник я поехал за подарками и в трамвае услыхал, что австрияки объявили Сербии войну. «Вот оно!» – вспомнил я Петьку. А в четверг, 17-го, Тася отпросилась сходить с Федором в кинематограф, а я с утра засел в чулане, где оборудовал себе фотографическую лабораторию, и занялся проявкой пленки, что отснял во время летней практики. Закончил уже за полночь. Таси до сих пор не было, а ведь обещала сразу после фильмы вернуться. Так и не дождавшись ее, я поужинал сам и пошел спать, но уснуть не мог, ворочался, сердился, не то чтобы ревновал – разве самую малость. Что-то вдруг в моем отношении к ней изменилось, и у нее, как мне показалось, тоже: она стала как-то стесняться, что ли. Заснул я, когда уже светало. Проснулся, а Таси все нет. Пришла она лишь к полудню, с распухшим от слез лицом.

– Что, что? Я уж не знал что и думать!

– Федю забирают, общая мобилизация. Я его собирала и проводила на сборный пункт. В четыре их отправляют. – Она шмыгнула носом, отвернулась и заплакала. Не зная, как ее утешить, я подошел и осторожно взял ее за плечи:

– Ну, ну, это еще не война.

Она резко повернулась ко мне, сквозь слезы воскликнула:

– Война! Война, Андрей Николаич! – И вдруг порывисто приникла ко мне, продолжая причитать: – Война, война…

И это первое в моей жизни телесное ощущение женщины, ее вздрагивающих от рыданий форм было непередаваемо. Пока я касался прекрасного пола лишь на балах, танцуя с гимназистками, и потом долго пережевывал в памяти тепло, или прохладу, или влажности их ладошек, трепетность талии под рукой. То, что сейчас, было другим, ничего подобного я еще не испытывал. В голове поплыло. Я боялся шевельнуться, чтоб не спугнуть, но тело помимо воли стало вжиматься в нее в такт ее всхлыпываниям. Она вдруг притихла и, я почувствовал, напряглась. «Боже мой, что я делаю!» Она доверилась мне в своем горе, а я воспользовался ее минутной слабостью… Боже, как некрасиво! Как мерзко! Я мягко отстранил ее и намеренно грубовато сказал:

– Ну полно, полно тебе. Небось не ела? Идем я тебя покормлю.

Я вскипятил чай, приготовил ей бутерброды и сел напротив.

– А ты разве на вокзал не пойдешь? С какого их отправляют?

– С Варшавского. – Она подняла ко мне лицо и слабо улыбнулась. – А можно?

– Отчего ж нельзя? Непременно надо пойти проводить!

А в субботу вечером в дверь позвонила старушка с верхнего этажа и сказала, что Германия объявила России войну.

– Я ж говорила – война, Андрей Николаич! – тихонько завыла Тася, глаза у нее за те два дня, что ее Федора забрали, не просыхали.

Я не знал, что мне делать. Все было куплено, уложено, утром я хотел отправиться в Гельсингфорс – и на тебе! Поразмыслив, я решил сбегать в Корпус.

*****

На нашей 20-й линии против обыкновенного было людно. Жильцы стояли у парадных и наперебой возбужденно говорили. Не в пример Тасе, они восприняли войну с ликованием. В Корпусе также царило возбуждение. Воспитанники (те, что не уезжали из города) толпились в вестибюле и обсуждали, как скоро побьют германцев, начнутся ли осенью занятия и как записаться добровольцем.

Я спросил у дежурного, не направят ли нас в действующий флот и не надлежит ли мне ввиду этого оставаться в Петербурге. Тот уверил, что флот укомплектован, а долг воспи-

танников – отлично учиться, для чего необходимо хорошо отдохнуть и набраться сил. Оставив на всякий случай гельсингфорсский адрес, я пошел потолкаться в городе.

Народу на улицах прибывало. Отовсюду неслись речи, призывы: «Долой Германию!», «Да здравствует Россия!», пели «Боже, Царя храни»… Я прошел с манифестацией, которая завершилась молебном в церкви.

Вернулся я далеко за полночь, тихонько открыл дверь, чтобы не разбудить Тасю, но та не спала. Она выглянула из комнатки для прислуги и сообщила, что из Гельсингфорса звонил отец, сказал – будет в понедельник в Петербурге и велел мне его дождаться.

Утром, захватив «Кодак», я поехал трамваем на Невский. На Николаевском мосту трамвай встал, и вагоновожатый объявил, что вагон дальше не пойдет. Все стояло. Пассажиры спешились, и по мосту плыла пестрая толпа нарядных женщин, мужчин, а впереди по набережной, со знаменами, хоругвями, портретами Государя шли манифестанты. Я, к ужасу дам, взобрался на парапет и стал снимать.

– Папа, он же упадет в Неву! – услышал я голос и поглядел.

Подо мной стояли морской офицер и, видно, его жена и дочь, моего возраста, премиленькая. Я ей улыбнулся, как учил дед, глядя гипнотическим взглядом, и пояснил, что привык к высоте: на парусных учениях по сто раз бегаешь через салинг, а иногда и сидишь на нем пару часов.

– Не теряйте здесь время, кадет, пропустите самое интересное, – посоветовал ее отец. – Поспешайте на Дворцовую. Государь Император с супругой выехали из Царского и вот-вот прибудут в Петербург. Мы тоже туда направляемся.

Я поблагодарил, и они пошли дальше. Последнее, что я услышал, как дочь спросила:

– Папа, а что такое салинг?

Я улыбнулся: через салинг я набегался. Это площадка на верхушке мачты, куда бегом бегут по вантам, ну вроде веревочных лестниц, словом, как мартышки. А «сидеть» на салинге – вид наказания. В гимназии ставят в угол, в Корпусе – в Компасном зале по стойке «смирно», а на паруснике посылают на салинг, размером с пятачок, и сидеть там два часа невообразимо тошно.

Манифестанты двигались черепашьим шагом, и я решил обогнать их по Галерной. Подбегая к Сенатской площади, я вдруг услыхал впереди тысячеголосое «ура». «Эх, черт, опоздал!» Так и оказалось: приветствовали подъехавшего к Зимнему Государя.

А народ шел и шел – с набережной, с Невского, даже с Миллионной. Сколько тысяч собралось на Дворцовой площади – сто, двести?.. Море голов, зонтов, знамен, хоругвей… Все ждали, что Государь выйдет к народу. Держа над головой Кодак, я продирался сквозь толпу, чтобы запечатлеть этот момент. И странное дело: не нашлось никого, кто бы меня выматерил или хотя бы пожурил. Напротив, кто-то голосом помогал: «Дайте морячку снять фотографии!» Такой массовой доброжелательности, тепла, идущего буквально от каждого, я никогда больше не встречал.

Внезапно гомон оборвался, и на балконе появился Государь. И в ту же секунду вся масса народа на площади опустилась на колени. Я обнаружил себя тоже на коленях, и сколько потом ни вспоминал, так и не смог понять, как это произошло. Словно что-то толкнуло меня внутри, общий порыв, что испытал в ту минуту каждый, ощутив себя, соседа, всех на площади, Государя частичками единого целого – России.

Я вскинул «Кодак», но не мог навести: слезы застлали глаза. «Да что ж это я! Какой стыд! Как барышня!» Я украдкой огляделся – слезы были не у меня одного…

*

Отец приехал – меня еще не было. На минуту заскочил, передал через Тасю, что, как только закончит дела в Морском министерстве, мы пойдем на катере в Гельсингфорс, и чтоб я был полностью готов. К полудню он уже вернулся, мы перекусили, попрощались с Тасей и стали спускаться. Мне так и не удалось проститься с ней один на один, и когда мы вышли из парадного, я притворно спохватился и сказал, что забыл пленку. Оставя отца на улице, я взбежал по лестнице и вошел в квартиру. Тася выглянула из кухни:

– Забыли что?

– Пленку для фотоаппарата.

Я зашел к себе в комнату, взял еще одну пленку и вошел на кухню. Тася мыла посуду. Я подошел. Она повернулась ко мне.

– Ну, Тася, не грусти, – заново попрощался я, лихорадочно соображая, куда ее лучше поцеловать: в щеку или в лоб.

Губы ее вдруг покривились, она шмыгнула носом, припала ко мне, держа мокрые руки на весу, и заплакала. Опять я ощутил ее тело; и опять, как и в первый раз, в голове сладко поплыло. Пожалуй, это ощущение было уже не столь неожиданным и новым, но зато теперь она приникла ко мне не из-за своего Федора, а оттого что прощалась со мной.

– Теперь я совсем одна остаюсь, – всхлипывала она.

– Ну вот, – покровительственно заговорил я, поглаживая ее по голове, – а я думал, ты все слезы уже выплакала, ничего не осталось.

Она подняла от моей груди голову и слабо улыбнулась.

– Ну, – сказал я, – и тут, сам от себя не ожидая, быстро коснулся губами ее губ.

Губы у нее были мягкие, теплые и чуть солоноватые от слез. Она никак не выразила своего недовольства, но когда я попытался повторить поцелуй, она мягко остановила.

– Идите, не то Николай Николаич будет серчать на вас. Поклон Марисане. И Анечку, Анечку поцелуйте!

Я выбежал, чуть не на крыльях слетел с лестницы, но сразу на улицу не вышел, а постоял подождал, чтобы успокоиться, и отец ничего не заметил. Это был первый в моей жизни взрослый поцелуй.

А к вечеру я уже был на даче и раздавал подарки. Потом сели ужинать, а за чаем с бабушкиным брусничным вареньем я рассказал, что происходило в эти дни в Петербурге, и как нынче вся Дворцовая площадь пала на колени, когда Государь вышел на балкон. А он клятвенно обещал не заключать мир, пока хоть один неприятельский солдат остается на русской земле, и в ответ грянуло такое «ура!», что в Зимнем повылетали стекла. Последнее было преувеличением, но я решил, что для большего впечатления не грех и приврать. А затем вся площадь запела «Боже, царя храни»…

Прислуживала за столом молоденькая финка из соседней с дачами деревни, Хилма, взамен той карги, что у бабушки и деда была прежде. Хилма была рослая, крепкая, не в моем вкусе, но, по совести говоря, я был бы непротив и с ней. Она приходила утром, а на ночь возвращалась к себе в деревню.

В следующие два дня маменька и Аня буквально не отходили от меня, и наконец на третий мы с дедом пошли на его баркасе в шхеры. Я сел на парус, а дед, чертыхаясь, принялся распутывать спутавшийся «самодур», на который мы ловили рыбу.

– Ну, давай, моряк, рассказывай.

– А что, дед, рассказывать – война вот.

– Это я без тебя знаю. Как у тебя в Корпус? Экзамены, слышал, сдал успешно…

– Четвертым в роте.

– Отчего ж не первым? Барышнями, верно, чересчур увлекаешься?

– Да нет, дед, какие барышни! Ну, на балах там, а так…

– А не барышнями?

Я понял деда, но прикинулся:

– Что ты имеешь в виду?

– Женщин – что! Пора.

Я подумал про Тасю. Разговоры о женщинах были у нас не внове, но за год я поотвык от деда и, кажется, покраснел.

– Да нет – когда, – сколько возможно небрежно отвечал я. – Да и где найти? Не на Невском же?

– Была б охота!

Какое-то время плыли молча.

– А у нас теперь Хильма, вместо той… – снова заговорил дед. – Ту мы еще весной рассчитали. Грубить стала. А эта баба неразбалованная, работящая. А, ну ты же видел ее! – Он лукаво сощурился. – Как она тебе?

– В каком смысле? – снова покраснел я.

– Как баба! В каком еще.

– Да я ее толком не разглядел.

– А ты разгляди, – со значением сказал дед.

– Она ж замужем вроде…

– Думать об этом не твоя печаль. Да я что-то и мужа ее не вижу. Должно быть, опять в Новгород на заработки подался. Он по плотницкому делу.

Чуть помолчав, я сказал:

– Потом, из нее ж слова не вытянешь! Что-то ей говорю – улыбается. Спрашиваю: «Не понимаешь по-русски?» Кивает. «Не понимаешь или понимаешь?» Кивает…

Дед усмехнулся:

– Чухна! Суоми все такие. Вот я тебе скажу: поехали трое чухон на ярмарку. Час едут, другой… Один говорит: «Да-а, весна скоро». Еще час едут. Второй говорит: «Да-а, скоро весна». Еще час проехали, третий им: «Что вы разболтались как бабы!»

Я засмеялся.

– Анекдот?

– Я думаю, это финны, сами про себя и сочинили. А баба, Хилма, ладная, чистая.

На том разговор и закончился. Я раздумывал над его словами, сломав голову, как к этому подступить. Сказать: «Не хочешь ли мне дать?» Или, ха-ха, «посношаться не интересуешься»? Еще надсмеется. Или, хуже того, скажет маменьке. А, допустим, согласится? Где, под кустом, что ли?

Так прошло несколько дней. Дед к разговору не возвращался. Я ждал, что мы опять пойдем в шхеры, и дед непременно заведет разговор. Мы плыли, плыли, он все не заводил, и я ломал голову, как его навести на это. И как нарочно: только хотел раскрыть рот, как дед схватился за бинокль и, что-то увидев, даже привстал.

– На, погляди! – протянул он бинокль. – Никак сельдь…

Я приложил банокль. Впереди, кабельтовых в трех, вода в заливе вся серебрилась. Шел косяк. Мы легли в дрейф. Косяк подходил, уже было видно и без бинокля, как рыбки выскакивают из воды, вспыхивая на солнце серебром. Несколько рыб ударило в борта, в днище, и вслед точно град забарабанил по крыше, вода вокруг баркаса вскипела.

– Финта! – крикнул дед.

– Что? – не понял я.

– Сельдь.

– Сельдь? – удивился я, привыкши к мелкой балтийской салаке.

– Приблудная, из Атлантики. Случается, заходит к нам, но редко.

Едва успевали спускать «самодур», как леса рвалась из рук, а когда выбирали – с крючков гроздьями свисали трепыхающиеся селедки.

– Эх, жаль сачков у нас нету! – согрушался дед. – Сейчас бы черпали их как воду!

Хотя сокрушаться было грех: в считаные минуты дно баркаса покрылось толстым слоем трепещущей сельди. Косяк прошел. Возбужденные, запыхавшиеся, мы закурили.

– В жизни такого не видывал! – попыхивая трубкой, изумлялся дед. – Это ж… Ни в сказке сказать, ни пером описать.

Я подумал, что теперь есть повод завести разговор на интересующую тему.

– Вот работы Хилме будет!

– Да, – согласился дед, – придется еще боченок подкупить. – И замолчал.

– А она и вправду работящая, – попробовал подтолкнуть разговор я. – Вроде не торопится, а все у нее летит!

– А то и два, – проговорил дед. – Или уж сразу бочку купить? А? Как ты думаешь?

Я как раз думал, что дед от этой рыбы повредился в уме, но, уловив в глазах деда лукавину, понял, что тот почему-то не желает говорить о Хилме.

Когда вернулись домой, дед объявил аврал. Все перетаскивали рыбу, даже маленькая Аня. Засолить в этот же день не поспевали, и дед распорядился снести в погреб, где лед держался от зимы до зимы. Хилма спустилась вниз, а мне вменялось сносить ей вниз рыбу. Дед постоял, распорядился об исполнении доложить и ушел с кухни. Все ушли.

Снеся наконец последнюю рыбу, я поставив таз Хилме и стоял глядел, как ловко она укладывает селедки на лед. Поцеловать? Она будто услышала, отерла рукавом лицо и мельком улыбнулась мне через плечо. Поцеловать! И немедля! Я шагнул к ней и клюнул в щеку. Она застыла на мгновенье, затем выпрямилась и повернулась к мне. Лицо ее ничего не выражало. «Сейчас как хлысть мне по зубам!» – подумал я и изобразил улыбку:

– Прости, не удержался. У тебя щечка такая розовая, прямо персик!

– Холод, – сказала она.

– Прохладно, – согласился он. – Не сердишься?

Она кивком указала наверх.

– Рыбу нести? Больше нет, это все.

Она помотала головой.

– Это последняя. Видишь, таз даже неполный?.

– Тут нет. Там.

– Да нет там рыбы! Говорю: я все снес!

– Иди лес который видеть там пень ждать меня.

У меня чуть сердце не выпрыгнуло.

– Ждать тебя в лесу около пня, верно? – едва сдерживая радость, уточнил я.

Она кивнула.

– А как я найду этот пень? Там их сотни!

Она покачала головой:

– Одна пень. Иди дорога сам видеть пень.

– Прямо на дороге, что ль?

– Дорога, – побежала она пальцами по предплечью, очертила ладонь: – Лес. – И ткнула в то место, где обычно щупают пульс: – Пень.

– А-а! – сообразил я. – Пень на дороге у опушки. Ну и пень же я!

Видно, слов «опушка» и «пень» в переносном значении она не знала и покачала головой:

– Пень. Пушка там нет.

– Я понял, понял, – рассмеялся я. – Молодец, Хилма, доходчиво объяснила.

Теперь предстояло улизнуть из дома, чтобы не попасть на глаза маменьке и Ане. Маменька начнет допытываться, куда на ночь глядя, а Аня увяжется, и тогда все погибло. Маменьке скажу, что иду драить баркас, а Ане – что ее закусают комары. По счастью, удалось улизнуть незамеченным. Дойдя до леса, я сел на выкорчеванный пень, еще не увезенный хозяйственными финнами, и закурил. Дрожь, приступами колотившая меня, пока шел, улеглась. Помогали комары, от которых приходилось отбиваться, нещадно лупя себя. Это были форменные злодеи, жалящие с лету. Наконец показалась Хилма, и меня снова стало колотить. Я пошел навстречу, намереваясь поцеловать, но она, не сбавляя хода, прошла мимо, кивком позвав идти за ней. В лесу было уже совсем сумрачно, пахло прелью. Хилма свернула на какую-то тропку.

– К-куда ты меня введешь? – не в силах совладать с прыгающими губами, спросил я.

Она оглянулась, как бы спрашивая, что со мной.

– Зззз-замерз в погребе. Никак не согреюсь.

Она хмыкнула, но промолчала. Лес начал светлеть, и мы вышли на поляну, где стоял почерневший от времени и дождей сарай. Это был сенник. Мы вошли в полумрак. Хилма подошла к выемке, откуда, видно, сено выбирают, села и призывно улыбнулась.

– А ддд-дверь?

Она махнула рукой, опрокинулась на спину и задрала сарафан – панталон на ней не было. Чулок тоже, но мне почему-то вспомнилась подвязка моей пассии Асты Нильсен из «Ангелочка». В конце концов, обе они были скандинавки.

– Ну, скоро? – поторопила Хилма.

*

Проснулся я, верно, от телесного ликования. В доме все еще спали. Можно было поваляться, но тело пело, рвалось наружу, требовало действий, и я вскочил как по «побудке». Стараясь не скрипнуть половицей, я вышел в сад, вдохнул полной грудью свежий утренний воздух и побежал на залив. Бросился в воду и поплыл размашистыми саженками, как из роду в род плавали все Иевлевы. Плыл ни о чем не думая, упиваясь ощущением рвущейся под гребками воды и, наконец подустав кабельтовый в пяти от берега, лег на спину, как я называл, «в дрейф», и стал вспоминать вчерашний вечер.

Похоже, она осталась довольна. Правда, был конфузный момент, когда мы уже поднялись. Одеваясь, я повернулся к ней спиной, что было совершенно излишне в уже наступившей темноте. Она в это время отряхивала с себя сено. Я хотел сунуть ей деньги, она не взяла. Я слегка смутился, радостно и вместе озабоченно подумав: «Не влюбилась бы, чего доброго! этого не хватало!»

– Почему? Возьми! Купи себе что-нибудь, – настаивал я. – Ты мне доставила несказанное удовольствие!

Она покачала головой, сказала:

– Твоя дед давать.

– Де-ед?! – изумился я, разочарованный и готовый провалиться под землю. – Все равно возьми! Мы же еще придем сюда?

– Она много давать, не надо.

Сейчас, лежа в воде, я покраснел, казалось, всем телом. Черт бы его побрал! Кто его просил? Как будто я маленький, право!

Я поплыл к берегу, с остервенение вонзая руки в воду. Пока доплыл – гнев унялся, а когда подходил к даче, и вовсе улетучился. В конце концов, дед сделал из меня мужчину. Теперь главное – не покраснеть, когда я ее увижу, а то все поймут. Ни в коем случае! А она, интересно, как? Тоже, верно, смутится…

Дома уже встали. Дед сидел на веранде, обложившись газетами. Примечательно, что этот дед в отличие от ораниенбаумскаго никогда прежде газет не читал, правда и теперь смотрел только сводки военных действий.

– Ну что там? – войдя на веранду, кивнул я на газеты.

– Пока не худо. Особо в Галиции. А Колчак-то наш, а?! – Под «наш» имелось в виду, что Колчак тоже выпускник Корпуса. – Они-то рассчитывали войти в Финский, подойти жахнуть по Питеру из всех своих крупповских 12-дюймовых – и конец войне. Ан не вышло: Колчак мины поставил. – Дед хихикнул: – Будешь плавать – гляди заместо бабы мину не облапь! – Знал уже, конечно, небось от Хилмы или сам догадался.

Я испугался, что не дай бог еще начнет расспрашивать, и поспешно сказал:

– Да, коли б не мины, нынче бы здесь уже не мы, а германцы рыбачили.

– И такую свинью им подложить! – хохотнул дед. – Молодцом Колчак…

В это время Хилма внесла поднос с посудой и стала накрывать для завтрака. Я как ни старался, покраснел, возможно, от стараний. Хилма же, как и обычно, мельком улыбнулась, как будто ничего между нами и не было. Даже обидно! Дед заметил мое смущение и, когда она вышла, весело сказал:

– Ты тоже молодцом! Я, грешным делом, стал сомневаться: Иевлев ты или нет. Теперь вижу – Иевлев.

Я, чтобы скрыть, что мне польстило, напустил обиженный вид.

– Что ж ты, дед, меня опозорил? Что я, маленький?..

Дед вскинул брови.

– Дал ей денег! Как будто я сам не знаю.

– Мы с ней уговорились. А то ты ходил вокруг да около, так бы не солоно хлебавши и уехал. А что у тебя 17 августа?

– 17 августа? День рождения имеешь в виду?

– Это мой подарок.

– И что это за подарок? – раздался голос маменьки, и она с Аней вошли на веранду.

– А это, сударыня, наш морской мужской секрет.

– А какой секрет? – полюбопытствовала Аня.

Вошла бабушка, и все шумно стали рассаживаться за столом. Хильма внесла поднос с завтраком. Я встретился с ней глазами и не покраснел.

До самого отъезда я ходил практиковаться в сенник чуть не каждый вечер. И что мне теперь особенно нравилось в Хилме – молчаливость. Поговорили телами и разошлись – она в деревню, я на залив, а уже оттуда – домой. Маменька привыкла, что я вечерами подолгу плаваю и вопросов не задавала.

На мой день рождения приехал отец. Еще утром я сговорился с Хилмой, чтобы днем она под каким-нибудь предлогом отлучилась из дому, и мы встретились в сеннике. Другой возможности проститься не будет: завтра отец перевозит нас в Петербург.

*****

А перевез уже в Петроград: 18 августа город переименовали. На патриотической волне поднялись антинемецкие настроения, шли погромы. Срывали вывески с немецких магазинов и фирм, били стекла, избивали самих немцев – неважно, были они германские или же давно обрусевшие коренные петербуржцы. Громили по признаку фамилии, и кое-кто, и таких было немало, поспешил стать из Вальтера Шварца Владимиром Черновым, Черниковым, Чернушкиным – неважно кем, но только чтоб на «ов» или «ин».

Патриотизм подогревался властями, запустившими кампанию борьбы с «немецким засильем». Началась конфискация имущества. Досталось даже Шиллеру, Гете, Вагнеру… Их больше не печатали, снимали с репертуара театров… «Умом Россию не понять».

Тася обрадовалась, расцеловала Анечку, маменьке сказала, что та выглядит – ну просто как барышня! Маменька и в самом деле каким-то образом сумела подкоптиться под балтийским солнцем, да еще в холодное лето, и выглядела, верно, как воспитанница Смольненского института – то-то отец все два дня глаз с нее не сводил. Маменька зарделась и в свою очередь спросила у Таси, есть ли известия от Федора – оказалось, она знает про его существование, это я не знал. Тася сказала, что получила четыре письма, что полк Федора стоит в резерве под Варшавой, что он просил прислать курево, что…

– Душенька, а не попить ли нам с дороги чаю? – обратился к маменьке отец, дабы остановить Тасино словоизвержение. – Тася, голубушка, соорудили бы нам чаю с бутербродами, или, как их теперь называть, чтобы по-русски… Хлеб с сыром?

– А ты по-французски, Коля, tartiine de fromage – улыбнулась маменька. – Они же наши союзники?

– А можно a cheese sandwich, Англия тоже союзница, – предложил я.

– У России два союзника: ее армия и флот, – усмехнулся отец и посмотрел на меня. – Кто так сказал?

– Государь Император Александр III.

– Молодцом.

После чая я ушел к себе и принялся сортировать пленки – какие проявить вперед. В дверь постучала Тася с постельным бельем. Она ждала нас завтра и еще не перестилала. Я сказал, что перестелю сам и спросил:

– Ну как ты тут? Смотрю – уже не ревешь…

Она ответила улыбкой, затем, быстро посмотрев, сказала:

– А вы переменились, Андрей Николаич.

– Неужто по мне все видно? – подумал я и спросил: – В чем же переменился, Тася?

– Не знаю, – улыбнулась она, – другой стали.

– И что же – лучше? хуже?

Она засмеялась:

– Взрослый стали.

– Ну так… У меня ж день рождения был вчера.

– Я помню. Шестнадцать лет. – Она быстро вышла и тут же вернулась с каким-то свертком. – Это вам, Андрей Николаич, с днем рождения.

Я растерялся, прежде она мне подарков не делала.

– Ну это… Зачем тратиться было?

Она продолжала улыбаться и ждала, когда я разверну. В свертке оказался альбом для фотографических снимков. Я был растроган:

– Здорово!

Она просияла.

– Правда? Вам нравится?

– Очень! Честное слово! Спасибо. – Я наклонился и быстро поцеловал ее в уголок рта.

Она сделала страшные глаза и показала взглядом на дверь.

Это вошло в обиход: я украдкой целовал ее, а она всякий раз делала испуганные глаза. А однажды я специально ее не поцеловал, и она, верно, не могла понять, что же стало тому причиной, и весь день беспокойно взглядывала на меня. Но дальше поцелуев дело не шло: мешало, что она наша прислуга, да и кто-нибудь постоянно был дома.

Через неделю вернулся из Москвы Петька, сильно загорелый, важный, будто его надули воздухом, и загадочный. Первое, что он сказал, едва мы встретились:

– Вот что, Ива, на время войны я меняю свое отношение к Государю. Впредь я не оцениваю плохой он или хороший Государь. Я смотрю на него как на Андреевский флаг. Андреевский флаг не может быть плохим или хорошим. Это символ морской России. Есть флаг – есть Российский флот. Есть государь – есть Российское государство.

«Не иначе как для меня речугу продумал», – мысленно усмехнулся я.

– Так что в этом отношении, Ива, у нас нет больше противоречий.

– До конца войны?

– До конца войны.

– А когда, ты думаешь, она кончится?

– Не раньше чем нас произведут в мичмана. Еще успеем повоевать.

– Дед тоже самое сказал, – улыбнулся я.

– Умен! Передал от меня поклон?

– Другой дед, ты с ним не знаком.

– А-а. Тоже умен. Ну, как отдыхал?

Что-то в его тоне, в его манере появилось неуловимое: не высокомерие, нет, а снисходительность, что ли, с какой, допустим, некоторые гардемарины говорят с кадетами. Это было смешно, хотя слегка задевало, но осаживать я не стал, пусть себе.

– Здорово! Ходили с дедом в шхеры, раз в косяк попали, так селедки сами в баркас запрыгивали. Я боялся, как бы баркас не потопили. А ты как?

– Я-то… – ухмыльнулся он, помялся, видно решая говорить, нет, – и вдруг разом с него слетело. – Слушай, Ива, не знаю, право, как быть…

– А что?

– Понимаешь, – заговорил он, волнуясь, – у меня там была связь с одной, ну…

– Где, в имении?

– Ну да, в деревне. Глашей зовут. Кра-а-сивая! Я такой ни в одной фильме не видал.

– Красивей Асты Нильсен?

– Ни в какое сравнение! Смотришь на нее – дух захватывает. И она в меня влюбилась. Даже не влюбилась, а полюбила меня, Андрюха, всем сердцем полюбила, веришь? А я поступил как подлец, как…

– Девка, забрюхатила?

– Не девка – молодуха, на пасху только выдали. Вернее, продали…

– Это каким же образом? – изумился я. – Добро б в Бухаре…

– За долги. – Он шумно вздохнул и принялся рассказывать.

Отец Глаши задолжал кузнецу. Тот ему прощал, только расписки брал. А зимой кузнец возвращался из Орла… И то ли пьяный был, то ли с дороги сбился, а только утром лошадь пришла, а он в санях замерзший. Кузня к сыну перешла. Тот расписочки нашел и к Глашиному отцу: мол, возвращай должок, не то в суд, по миру пущу. Отец в ножки ему, не губи. А тот: «коли Глашку за меня выдашь, все прощу, еще и деньжат дам». Ну, Глаша поревела, поревела, а что делать.

– Негодяй, – сказал я.

– Мерзавец!

Мы помолчали.

– А как же ты с ней при муже?..

Петька усмехнулся:

– А он сгинул!

– Ха-ха! Куда?

– Дай Бог в тартарары. Поехал в Москву – сказали, на заводе вдесятеро зашибать будет. Он на разведку, в мае еще. А нынче, считай, уже сентябрь. Урядник в управление доложил – пока ничего. Странная история, не правда ли?

– Куда как! А с ней-то у тебя как случилось?

– С Глашей? – переспросил он, верно, чтобы лишний раз произнести ее имя. – Ну, приехали мы в имение – я ж там лет десять не был, мама ездила, а меня отец в лагеря с собой брал. А потом мы все вместе в Крым ехали. А в этом году, видишь как…

– Отец пишет?

– Да, их из Пруссии в Польшу перебросили. Я уезжал, его однополчанин у нас ночевал, проездом в Тулу, на оружейный ехал. Рассказал подробности. Их полк же в составе 2-ой армии был, у генерала Самсонова. Ты слышал, что произошло?

Я знал от деда в Ораниенбауме, что два корпуса генерала Самсонова были в Пруссии окружены и полностью уничтожены, а о судьбе самого генерала говорили разное, даже что застрелился. Петька подтвердил, что Самсонов застрелился, это точно.

– Потом расскажу, в газетах такого не прочтешь, – обещал он и вернулся к рассказу: – Ну вот, приехали – в усадьбе полнейшее запустение. Кроме нас еще кухарка-старуха и сторож-дед, оба «времен Очаковских и покоренья Крыма». Днем еще ничего: на речку пойдешь, в лес. Но вечером, Ива… Скука смертная. Экипажа у нас уж сто лет нету – ни поехать никуда, ни… Пошел в воскресенье к обедне. Девок там, баб… Зыркают на тебя, глазки строят – а как подойти? Не знаешь, кто с кем, кто за кем… С деревенскими нынче связываться не дай Бог, уедешь – дом спалят, а то и тебя вместе с домом. Разнуздались. Воровство. Ну, выхожу из церкви, закуриваю – ко мне детина подваливает, закурить ему. Дал ему папироску, стоим курим. Глядит на меня. Ну, я на него: мол, чего тебе? «Не признаете? – говорит. – Митрий. Маленькие вместе играли у вас на чердаке, в солдатики». Я говорю: «Митуля, что ли?» Мать его к нам ходила полы мыть и его брала. Беленький такой, щуплый, – а вымахал… Ну, поговорили, про Корпус расспрашивал. Потом говорит: «Не скучно, мол, одному-то?» – «Да уж какое веселье, – говорю, – матушку вот сопроводил, отец на войне». – «Познакомить, говорит, с кем?» – «Отчего ж, – говорю, – познакомь». – «Глашка, говорит, у нас, кузнецова жена, красавица – глаз не отворотить. Только под венец сходила, а муж пропал». Ну и рассказывает, что я тебе рассказал. «Девкой была, захохочет – на другом конце деревни слыхать! А теперь на вечерину придет – девки, парни пляшут, целуются… Заплачет и прочь. У ней там, небось, чешется, а мужика нету, все как каженую обходят. Жалость глядеть». – «Отчего ж, спрашиваю, коль так хороша?» – «А кузнеца, говорит, боятся: неровен час, вернется – убьет. Дурной. А кулачище – с вашу голову, одним ударом кабана ложит. А вам, говорит, что: бабу уважили, себя ублаготворили – и ищи свищи. Вечером приходте к амбару», – говорит…

– А «неровен час»? – усмехнулся я.

Петька хмыкнул:

– А он, думаешь, из доброго расположения ко мне? Как бы не так. Вместе играли, а я вон в Морском корпусе… Что наш народ губит, так это свое понятие справедливости…

– Суть зависть.

– Вот-вот! Подумал бы, как себе лучше сделать, а не другому напакостить. Первый Мартынов горбом да животом дворянство зарабатывал, а его первый что? Бражку пил да баклуши бил. А Митуля мой как рассчитывал: трусом меня выставит. Мол, барчук-то, сдрейфил, дурковатого мужика испужался… А я ему вот! – Петька выставил кукиш. – Я когда сказал, что приду, у него аж физия вытянулась. Нет, не пойти невозможно! А ты бы на моем месте?

– Пошел, куда деться. Только я б предупредил: не понравится твоя красавица – не взыщи, другую мне найди.

Петька засмеялся.

– Что? – не понял я.

– Думаешь, ты один такой умный? Я так и сказал!

– Ну? А он?

Петька снова засмеялся:

– А он не пришел. Сам дрейфил. Все ж будут знать, что он свел…

– Ты мог уйти?..

– Я так и думал. Думаю, папироску выкурю… А у них там веселье. Гармонь. Доски на бочки положили – стол. Спиртное, яблоки, соленья. Оказалось, двоих завтра на войну отправляют. Меня – к столу. Как не уважить? Наливают стакан – водка? самогон?.. И глядят, как, мол, я…

– Хм, ну, ты им показал?..

– Очень охотно! Махнул, губы отер… Закусывать не стал. Ну и сразу уважение. Обступили, угостил папиросами, стоим про войну толкуем. Они ж понятия не имеют: что, из-за чего, и где такая Сербия… А я несколько захмелел, со стакану-то… Говорю, а сам баб разглядываю. А орловские наши, знаешь…

– Что орловские рысаки, – вставил я.

– Только без яиц, – хохотнул Петька. – Ну вот. Одна другой краше. Какая ж, думаю, из них эта Глаша? Тут танцы начали. Представь, в деревне уже танго танцуют! Под гармонь. Ну как танцуют – держатся друг за дружку и ходят, в кинематографе, верно, видели… Всех разобрали, стою курю. И тут… Как я ее раньше не заметил? Или подошла только. Стоит в сторонке. Сразу понял, что она, Глаша. Не поверишь: про все забыл. Про кузнеца, про кулачище, что дом спалить может… Подхожу: «Позвольте вас пригласить, сударыня!» Она, верно, не ждала, испугалась, покраснела страшно. «Я, говорит, не умею это». – «Не беда, говорю, я научу – ты только слушай меня». И она, представь, каждое мое намерение угадывает! Так мы с ней танцуем красиво – все остановились, пробуют повторить… Я ее отвел, где она стояла, шепнул: «Флигель в усадьбе знаешь? Приходи попозже…

– Ну, Петька!..

– Что «Петька»? Не засадил бы стакан – не решился. «Нынче, говорит, не могу, завтра, коли ждать будете». Отошел от нее – девки меня окружили: покажите, мол… Ну, стал па показывать… На нее оглянулся, а уж нету. – Он помолчал, видно вспоминая, и опять взволновался. – Как же она меня обнимала, Андрюха, как целовала! В жизни себе представить не мог. Целует и шепчет: «Родненький мой, это Господь мне тебя послал. Сжалился над бабой, что от мужней любви ничего, окромя боли не спытала. Он же со мной будто свою железу кует. Я вою, а его пуще разбирает. Я уж и не верила, что по-другому бывает, как бабы сказывали. Или, думала, изъян во мне какой, что…» И целует меня, Андрюха, шепчет и целует, шепчет и целует. Ох!.. А знаешь: я бы на ней женился была б свободна. Люблю ее, Андрюха. – Он качнул головой от полноты чувств и замолчал.

«А ты бы женился на крестьянке? – спросил я себя и себе ответил: – Никогда. Какая б ни была любовь, а… Ни на крестьянке, ни на мещанке, ни на еврейке. Только на своей».

Петька взглянул на меня:

– Ну, что скажешь?

– Что скажу: здорово! Завидую, повезло тебе. Я такого еще не испытал. И кузнеца не сдрейфил. Молодцом!

– Подлецом! Этого не сдрейфил, а взять ее с собой – сдрейфил.

– И куда б ты ее взял? В роту, что ль?

Петька криво усмехнулся:

– Ага, под койкой спрятал.

– Лучше в сундучок, обмундированием прикрыл…

– Ведь вернется – убьет ее. Как мы ни таились, а… Деревня! Кто-то у себя в погребе чихнет, а уж вся деревня знает, у него насморк. Митуля по пятам за ней ходил, первым и донесет.

Я из-за этого места себе не нахожу. Что делать, Андрюха? Всю жизнь потом себя корить буду.

– Могу с ораниенбаумский дедом поговорить: может, кому-то прислуга нужна.

– Я об этом не подумал, – обрадовался Петька. – Отчего ж нет?

– А ты со своей теткой поговори? У них столько знакомых…

– Нет, с теткой нет, – покачал головой Петька. – Начнет: «А что, а зачем, а отчего ты хлопочешь за нее?»

– Ну, в «Ведомости» объявление, или вон на афишных тумбах развесь.

– В «Ведомости» можно…

– А вот, слушай! Маменька в лазарет хочет пойти за ранеными ухаживать, столько везут… Сейчас новые лазареты открывают. Полагаю, и твоя Глаша могла бы. Пойдет на курсы сестер… Напиши, денег на дорогу мы ей найдем – можешь ей написать?

– У тебя не голова, а академия! – воодушевился Петька. – Подруге ее могу написать, у той мужа забрали, у нас полдеревни уже солдаток. Урожай еще не убрали, а к весне совсем мужиков не останется. Кто пахать-сеять будет? Бабы да малолетки…

Он стал рассказывать, как в считаные дни война все изменила. Я рассеянно кивал, а думал о своем, невольно сравнивая, что было у него и у меня. И что случилось со мной в Гельсингфорсе, виделось теперь таким мизерным, жалким рядом с Петькиной любовью, что я твердо решил про дачную связь не говорить. А когда Петька выговорился и стал расспрашивать меня, я, почти как и тогда волнуясь, рассказал, как вся Дворцовая пала на колени, когда вышел Государь, а потом все запели «Боже, царя храни». И Петька, против обыкновения, заразился тем же волнением.

*

И теперь, стоя в строю Корпуса в Столовом зале, мы с волнением ждали Государя. Наконец прозвучала команда: «Для встречи слева, слушай, на кра-ул!» Гул голосов смолк, взлетели в приеме винтовки, вскинулись головы в сторону картинной галереи, откуда в сопровождении свиты входил Государь, в полевой форме. Оркестр грянул встречный марш, и командующий парадом направился с рапортом. Пройдя по фронту до середины, Государь поздравил нас с корпусным праздником и объявил, что назначает шефом Морского корпуса Наследника Цесаревича. Грянуло сухое троекратное морское «ура».

В этот день мы видели Государя Императора Николая II в последний раз.

Война многое изменила в Корпусе. Начать с того, что на торжественном обеде в корпусной праздник не было вина: высочайшим указом спиртное до окончания войны воспрещалось. Запрет ханжеский! Можешь позволить дорогой кабак – пожалуйте вам: вина, водки, коньяки – что душа пожелает! Прочие страждущие обходились «ханжой», сдобренным чем-либо денатуратом, либо добывали рецепт на капли, одеколон – особым спросом пользовался феррейновский №3 – полуразбавленный спирт с лимонной эссенцией, но это к слову. Между тем близилось первое военное Рождество – неужто «сухое»?

На Рождество Петька собирался в Москву навестить матушку, а оттуда под предлогом проверить починили ли крышу, поехать в имение и увезти Глашу.

В этом месте Щербинин оторвался от книги, заложил страницу и вышел перекурить. И как раз подошла дочь и тоже закурила, пряча улыбку. Он заметил, но не спросил.

– Что? – спросила она.

– Что? Ты спросила «что».

– Я спросила… Ну как тебе книга? Читаешь?

– Читаю. Миша написал – они были в Милане, мать Дино что-то себе сломала…

– Да-а?! – фальшиво прикинулась дочь, и он понял, что она уже знает.

За ужином перебрасывались незначащими фразами, Ольга часто отвечала невпопад или вдруг беспричинно улыбалась, всякий раз пряча улыбку. Он видел, что она что-то скрывает, но допытываться не стал, не сомневаясь, что каким-то образом это связано с Дино. После ужина она ушла в свою комнату, а Игорь Александрович вернулся к книге.

…На Рождество Петька собирался в Москву навестить матушку, а оттуда под предлогом проверить починили ли крышу, поехать в имение и увезти Глашу. Написать ей он так и не написал: с началом занятий нас загрузили – не продохнуть. Из-за войны ввели ускоренный выпуск, сократив обучение с 6 до 5 лет, но оставив в полном объеме курс. Но зато выпустят не в восемнадцатом году, а в семнадцатом, так что успеем повоевать.

После первых недель относительного успеха стало ясно, что война будет затяжной. Россия опять к войне не готова, как была не готова к войне с Японией. Массовый героизм оборачивался бессмысленной гибелью многих тысяч – часто лишь из-за того, что нечем воевать. Ночевавший у Мартыновых однополчанин отца рассказзывал, что солдаты погибших корпусов армии генерала Самсонова, истратив патроны, шли в штыковую, причем один из трех бежал без винтовки в расчете подобрать у убитого товарища. Их накрывали огнем тяжелых орудий, а наша артиллерия молчала: не было снарядов.

В газетах об этом не писали, но писали о потерях противника. Ораниенбаумский дед бесился и перестал их читать, а сведения черпал у своих многочисленных друзей.

– На кой черт мне знать, сколько у них убитых и сколько мы взяли в плен! – в гневе брызгал слюной дед. – Вы мне напишите, какой ценой, какой нашей кровью! Как могло статься, что богатейшая Россия превосходит Германию только количеством пушечного мяса! В Галиции у нас восемь тяжелых орудий против их двухста! Фронт получает по два снаряда на орудие! В сутки! Это… это… Как это возможно? Кто у нас правит бал? Божий Помазаник или са-та-на?

Маменька восклицала: «Папенька!» – и крестилась.

– Неграмотный мужик! Проходимец! Распутник! – седлал любимого конька адмирал, – вот кто правит бал! Смещает-назначает министров, решает, чему быть, чему не быть. А где Его Императорское Величество? Вьется вкруг своей немочки, под ее дудку!

Маменька не выдерживала и уходила, а я мысленно затыкал уши. В Корпусе у многих были знакомые в армейских училищах, куда приходили бывшие воспитанники, раненные на разных фронтах, так что истиное положение на театре военных действий мы знали не из подцензурных газет и слухов, а от очевидцев.

Куда лучше обстояли дела на море, особенно на Балтике. Командующий Балтийским флотом адмирал Эссен, предвидя неизбежность войны, ориентировал его ближайшего помощника и сподвижника Колчака на принятие упредительных мер. Оба они пережили трагический урок Порт-Артура, где японский флот внезапно атаковал русскую эскадру на рейде, и теперь Эссена волновало, что русские старенькие корабли, многократно уступая германскому флоту численно, скоростью и огневой мощью, не смогут удержать Финский залив. И поэтому упор был сделан на ведение минной войны. Первый опыт и первые боевые награды Колчак приобрел еще в Порт-Артуре, командуя миноносцем «Сердитый», на котором получил боевое крещение и мой отец.

Нынче план Эссена базировался на том, чтобы в наиболее узкой части Финского залива, между мысом Порккала-Уд и островом Наргеном, выставить сильное минное поле, что и было выполнено за пять часов до объявления войны. Этой-то операцией и восторгался мой дед Андрей Николаевич, говоря, что Колчак подложил германцу свинью.

На поверку дело обстояло иначе. Немцы умело инсценировали подготовку к прорыву в Финский залив, водя русское командование за нос, с целью удерживать русский флот от активных действий, которые могли воспрепятствовать морским перевозкам из Швеции в Германию, прежде всего руды. Угроза прорыва германского флота в Финский залив не исклю-

чалась до конца войны, но реально в намерения немцев не входила, поскольку их главные силы были отвлечены на противостояние сильнейшему британскому флоту.

Первым эту игру раскусил адмирал Эссен, и в то время как из Петрограда слали грозные директивы не выходить в открытое море, Эссен с Колчаком стали готовить перенос минной войны на территорию противника, то есть минировать германское побережье, заперев их флот в базах и на путях перевозок. Эти операции, насколько дерзкие, настолько и действенные, буквально парализовали германский флот в восточной Балтике. Немцы были не готовы к такой войне и грешили на действия русских подлодок. А когда обнаружили, что это мины, непостижимым образом поставленных у их берегов и на путях транспортов, были вынуждены запретить своим кораблям выходы в море, пока от русских мин не будет найдена защита.

Эти действия русский флот развернул с наступлением темных ночей. Уже начался учебный год, и по Корпусу ходили были и небылицы о геройских операциях Колчака, чье имя произносилось даже чаще, чем отделенного офицера. Колчак был «наш», герой всех и каждого, понятно, и меня. При всем том я испытывал двойственное чувство: гордость за бывшего питомца Корпуса и стыд, оттого что другие геройски воюют, а мой отец отсиживается в штабе. Сказать отцу об этом прямо я не смел, но когда в какой-то связи он сам упомянул Колчака, я как бы к слову, спросил:

– А верно, что Колчак сам участвует в операциях?

– Верно, – сказал отец, не видя подвоха.

– Но это же опасно? – Я испытующе поглядел на него.

И опять отец не понял намека.

– Война вообще опасная штука, – полушутя сказал он и уже серьезно продолжал: – А для Колчака это жизнь. И тем полнокровней, чем опасней. Он родился воином.

– А ты?

– Я кем родился? – Отец усмехнулся. – Как все Иевлевы: служакой. Вере, Царю и Отечеству. Я воюю по долгу, Колчак – по страсти. В известном смысле он игрок. Когда…

– Неужто он ничего не боится? – попытался я ввести разговор в нужное русло.

– Я не спрашивал. Знаю одно: чем крупней ставка, тем он кажется хладнокровнее. Разве что глаза горят ярче.

– А ты? Ты бы боялся? на его месте… – гнул я свою линию.

Отец на мгновение задумался.

– Не знаю, что тебе и сказать. Испытываю ли я страх? Скорее, пожалуй, нервное возбуждение. Особенно когда вышел на постановку в первый раз. Я был на «Новике»…

– Ты ходил на постановку? – недоверчиво переспросил я.

– А что тебя удивляет?

– Ну, я думал, ты, это…

– …что твой отец в штабе только штаны протирает? – улыбнулся отец.

– А что ж ты никогда не рассказывал?

– До операции не мог; командиры кораблей – и те получают пакеты непосредственно перед выходом. А после… – Отец опять улыбнулся. – Да вы у себя в Корпусе больше меня знаете, не правда ли? Даже то, чего не было.

Я невольно улыбнулся, но тут же изобразил обиду.

– А я вот не знал, что мой отец принимает участие собственной персоной.

– Колчак считает это необходимым. Обстановка может не соответствовать оперативному плану, как говорится, гладко было на бумаге. Никто не сориентируется в непредвиденных обстоятельствах лучше, чем тот, кто готовил операцию. Недавно, под Новый год, была задача: тремя крейсерами-заградителями поставить мины на путях их транспортов.

До намеченной точки мы шли вместе, оттуда два ушли на их постановку, а мы на «России» должны были пройти к острову Рюген и поставить за маяком Аркон…

– Ого, ничего себе! – восхитился я. – Это ж… В самом их логове!

Отец ухмыльнулся и продолжал:

– А когда мы огибали Борнхольм подойти к Рюгену… Там очень яркий маяк, нас видно как на ладони. А шли под флагом контр-адмирала Канина, он побоялся, что нас заметят и приказал лечь на обратный курс. Саша в это время спал, Колчак. Я к нему в каюту. Он на мостик к Канину. С таким риском забраться к черту в пекло, до цели пятьдесят миль – и не солоно хлебавши вернуться? Опять с риском! А цена риска и успеха не соизмеримы. Убедил, легли на старый курс, поставили. А потом в кают-компанию отметили Новый год. А через две недели на наших минах подорвался их «Газелле». И еще подорвутся…

– Так это в самый-самый Новый год?!

– В самый-самый, в два-тридцать ночи.

– А мы с маменькой в это время сидели говорили о тебе. Думали, вы там в штабе празднуете. А ты вон, оказывается… Верно, самый необычный Новый год у тебя был?

– Что ж необычного, война, – улыбнулся отец. – А необычный у меня был, когда я заканчивал Корпус. Я встретил Новый год на ледяной горе.

– Где-где? – хохотнул я. – Это как?

– Поехал с горы в девяносто восьмом, а спустился уже в девяносто девятом.

– Целый год ехал!

– По годам – да, по времени – около минуты. Гора длинная, к Москве-реке спускается…

– К Москве-реке?!

– Я гостил в имении князей Щербатовых, меня их сын пригласил на Рождество…

– О, хм!

– У нас сейчас князь Щербатов в выпускной роте. Георгий. По кличке Князь.

– Это, верно, младший, ему тогда года два было. А старшего зовут Александром…

Слушать про старшего сына мне было не так уж интересно, и я попросил:

– А расскажи еще какую-нибудь операцию?

– Ну, как-нибудь в другой раз.

– Обещаешь? Мне же важно! Я все-таки будующий офицер флота.

Отец обещал. Теперь я был несказанно счастлив, что мой отец не штабная крыса, а боевой офицер. Да какой! И когда кто-то приносил в Корпус новость про очередную операцию, я знал, что рядом с Колчаком находился мой отец.

Об этом хотелось кричать на весь Корпус или хотя бы Петьке. Останавливали слова отца, которые он сказал о себе: «А что говорить – хвастать?» Несколько дней я боролся с искушением, которое победило. Петька же рассказывает о своем отце – отчего мне не рассказать? Рассказал и по Петьке понял, что поступил верно. А то тот небось думал, что его отец рядом со смертью ходит, а у Ивы – в штабе отсиживается. А вот что я неверно сделал – рассказал маменьке. Решил, ей будет приятно услышать, какой у нее геройский супруг. А она вместо этого – в слезы, в истерику. Так она была покойна, что Коленька ее безвылазно в штабе, а теперь… «Чтоб этому Колчаку пусто было!»

Возможно, она бы не восприняла это так болезненно остро, но нервы у нее совсем расшатались, особенно в последнее время. Она истаяла прямо на глазах – и все из-за проклятого госпиталя, куда она пошла, и куда ей не надо было идти, нельзя! Она была слишком хрупкой и впечатлительной привыкнуть к виду нечеловеческих человеческих страданий. Она не могла спать, не могла есть. Наконец она слегла, и врач сказал, что положение ее весьма серьезное: крайнее нервное и физическое истощение, и ни о какой работе в госпитале не может быть и речи. Необходим отдых и уход за ней.

Тася прибежала в Корпус, меня вызвали с занятий и тут же отпустили до утренней поверки, а дежурный офицер дал в штаб флота телефонограмму. Отец приехал в тот же день и позвонил тестю. Наутро маменьку погрузили с Аней и наспех собранными вещами в экипаж и отправили под присмотр родителей в Ораниенбаум. У Волковых была своя прислуга, и Тася до возвращения маменьки пошла санитаркой в лазарет: целыми днями одной в пустой квартире было одиноко.

*

После ставших привычными военных неудач осени 1914 и зимы наступившего 1915 года и прочно поселившегося в настроениях петроградцев уныния произошло событие, выплеснувшее на улицы чуть не весь город: войска Юго-западного фронта взяли сильно укрепленную крепость австрийцев Перемышль, захватив более ста тысяч пленных. В тот день невзирая на мерзопакостную погоду на улицах царило ликование, от радости все буквально посходили с ума. Орали «ура!», пели гимн, обнимались, целовались. А затем в город привезли и провели по улицам несколько тысяч пленных австрияков. Я увидел их на Невском. Они в молчании шли ни на кого не глядя, но выглядели нехудо: чистые, сытые лица, теплое обмундирование, добротная обувь. Я немедленно вспомнил, что писал Тасе Федор: все ходят оборванные, страшно мерзнут, нет спасения от вши… Тася вязала ему шерстяные носки, отправляла посылки с теплыми вещами и купленным на толкучке по сумасшедшей цене куском мыла.

Собственно, спекуляция началась немедленно с началом войны – сперва на железных дорогах. Из-за малой пропускной способности к театру военных действий количество пассажирских поездов было резко сокращено, и оборотистые люди, по большей части сами работники дорог, стали скупать в кассах билеты и перепродавать втридорога. По этой причине Петька остался на Рождество в Питере, как и другие кадеты. Платить бешеные деньги за короткий рождественский отпуск не имело смысла, и он перенес поездку в Москву и в имение на лето, после учебного плавания. Тем более что староста написал – за починку крыши не брались; мужиков совсем не осталось, даже уж на кузне работает Митуля, а стало быть, кузнец так и не вернулся, и Глаша в безопасности.

С отъездом моих в Ораниенбаум, я теперь в выходные отпуска прямо из Корпуса…

– Папа, – прервал чтение голос дочери, – хочу тебе показать…

Она стояла в дверях, пряча что-то за спиной.

– Ну… – поднял он от книги глаза.

– Посмотри… – Она подошла и протянула ювелирную коробочку.

– Что это?

– Посмотри, посмотри, – загадочно улыбалась она.

Улыбка дочери ему не понравилась. Он заложил страницу, взял у нее коробочку и открыл. В глаза сверкнуло камнем кольцо.

– Купила, что ли? – сказал он, возвращая коробочку.

Она не ответила, надела кольцо и, любуясь, предложила полюбоваться ему:

– Прелесть, да?

То, что она пропустила его вопрос мимо ушей, отцу еще больше не понравилось.

– Ничего, – вяло одобрил он. – Что за камень? Я в этих стекляшках не разбираюсь.

– Пап, ну ты что! Бриллиант.

– Коричневый?

– Шоколадный. Шоколадный бриллиант, довольно редкий.

– И сколько ж этот редкий шоколад стоит?

Дочь пожала плечами и интригующе улыбнулась.

– Слушай, кончай темнить! – начал заводиться отец.

– Я не темню, правда не знаю. И не знала, говорить тебе… Ты ведь Диню невзлюбил?

– Это он, от него?!

– С предложением руки и сердца, – улыбнулась дочь.

Щербинин побелел, глотнул воздух и вскочил, задыхаясь.

– Папа! – перепугалась Ольга.

В следующий момент его лицо налилось кровью.

– Ну… Ну это… это… это… – в ярости закричал он.

Ольга приобняла его:

– Ну что ты, пап? Я же не сказала, что выхожу за него замуж. В ближайшее время во всяком случае.

Щербинин тряхнул плечами, сбрасывая ее руки, и хмыкнул:

– И вернешь кольцо?

– Еще не решила.

– Ну, решай. Дело твое. – Он снова сел на кушетку и раскрыл книгу, сделав вид, что читает, в то время как глаза вхолостую бегали по строчкам.

Ольга стояла над ним и улыбалась нежной и чуть ироничной улыбкой.

– Ты прямо как бабушка: ревновала тебя ко всем женщинам.

– Я не ревную. – отрезал отец.

– А что ты делаешь?

– Стыжусь.

– Что-о-о?! – сверкнула она глазами.

– Что слышала, – буркнул он и заговорил, снова распаляясь. – Мне стыдно, что дочь у меня такая дуреха. Совсем себя не уважает. Позволяет… Сколько вы знакомы? И он уже делает тебе предложение! Что он возомнил? Что русскую бабу пальчиком американским помани – и она уже побежала? Да он, он… Он мизинца твоего не стоит! Он…

– Стоп, папа! – резко оборвала она и уже мягче добавила: – Я же сказала: я тебя одного не оставлю, можешь не волноваться. – И ушла к себе.

– Сама не волнуйся, не пропаду! – прокричал вслед Щербинин. – Я самодостаточный!

Когда Ольга вышла из своей комнатки, чтобы пройти в большую, она увидела, что отец второпях запихивает в свою сумку на колесиках вещи.

– Ты куда? – сказала она, прекрасно понимая куда.

– На кудыкину гору, – буркнул он.

– Пап, не дури! Ну хочешь, я верну?

– Мне без разницы. Я в твою жизнь больше не вмешиваюсь. Живи как знаешь.

– А компьютер?..

– Заберу, когда тебя не будет, и оставлю ключи. – Он подхватил сумку и решительно покатил к выходу, уже во дворе услыхав:

– Пап, а книга, книга? Книгу забыл!

– Да пропади она пропадом! – в сердцах пробормотал он. – Вместе с ними со всеми!

От мастерской до их квартиры в Левшинском было минут пятнадцать его шага, но сейчас, взвинченный, он не шел, а бежал, так что сумка еле поспевала за ним.

– Мало ей наших мужиков… – бесился он. – Нет ведь, американское говно милей…

Придя домой, он засадил граненый стакан водки, отключил телефон и завалился спать. Проснувшись утром, он не сразу сообразил, где он, вспомнил вчерашнюю ссору, но уже не так гневно. Встал и на носочках заглянул в комнату дочери – нет, не приехала. Весь день он никуда не выходил, ждал, что она позвонит или приедет. Она не звонила, он тоже звонить не стал. Это была самая серьезная размолвка за все годы, что они вместе. Долго сердиться на дочь он не мог, но тут, что называется, нашла коса на камень.

Звонок раздался вчером, но не от дочки. Римма любопытничала, почему не пришел.

– Собираюсь на дачу, много дел, – ответил он.

И действительно следующим утром уехал на электричке на дачу, жалея, что, уходя позавчера из мастерской, не взял кота Гришку, вдвоем было бы веселей.

2

Приблизительно в то же время, когда Игорь Александрович ехал утром в электричке, в Лос-Анджелесе был еще вечер предыдущего дня. Майкл сидел у себя на Уилшер бульваре и ждал Дино, который собирался после съемок заехать.

Откровенничая со Щербининым, Майкл посетовал, что они с сыном далеки. Побывав в России, Дино зачастил к отцу, нередко оставался ночевать и, хотя приезжал со съемок усталый, подолгу расспрашивал о Российской истории, культуре, накупил учебников и понемножку начинал говорить. Майкл не сомневался, что причиной тому Ольга.

Дино позвонил, что задерживается, но обязательно приедет. Майкл улыбнулся: уже довольно поздно, и ехать ему сюда не меньше получаса, тогда как до дому три минуты.

Это был дом родителей, где прошло детство и юность Майкла. Женившись, он жил у жены, а после развода вернулся к родителям, пока не купил себе квартиру. Когда родился Дино, они со второй женой и малышом переехал к родителям и жили с ними, пока Лина не увезла сына в Милан, и Майкл вернулся на Уилшер. Приехав поступать в киношколу, Дино вернулся в дом к бабушке и теперь, после смерти Аньес, жил там один.

Подумав, чем до приезда сына себя занять, Майкл взял книгу отца, которую не открывал добрых два десятка лет, с той поры, когда работал над сценарием. Тогда он обошел главы октябрьских событий – не строить же Москву из фанеры в Голливуде, как однажды сыронизировал отец. Теперь Майкл уже не представлял будущий фильм без этих событий, особенно, когда услышал от Гоши, что у Никитских ворот сидел с пулеметом его отец. Книгу Майкл помнил смутно, но в памяти сохранилось, что Никитские ворота отец упоминал не раз, и теперь Майкл решил перечитать эти главы.

Полистав, он нашел страницу, где отец описывает, как они с Петром по пути с фронта на Дон остановились в Москве навестить Петькину матушку, передохнуть и посмотреть заодно Белокаменную, где Андрей еще не был. С этого места Майкл стал читать:

Трудно сказать, чего в глазах матушки Петра было больше: радости от встречи с сыном или ужаса от вида двух заросших, черных от недосыпа и немытости кощеев. Дворник Мартыновых Шакир грудью встал в дверях, заявив, что «вшу в дом не пустит», и повел нас в сарай на санобработку. Анна Ивановна покорилась. Хотя, казалось бы, какое дворнику дело до господского дома? Но дело было.

Шакир был одногодком Петиного отца, они вместе росли, и Мартыновы настояли, чтобы дворник отдал своего смышленого сына в трехклассную школу. Когда отец Петра женился на Анне Ивановне, родители оставили молодым дом в Нащокинском переулке и уехали жить в имение Мартыновых в Орловской губернии. Старого дворника с женой они забрали с собой, и дворницкое хозяйство в Москве перешло к Шакиру. Тремя годами позже Шакир женился, и у него родилась дочь – Галия, которая росла в доме скорее как младшая сестра Петра, а не дочь дворника. А теперь, когда многолетняя прислуга Мартыновых сбежала из голодной и холодной Москвы семнадцатого года в деревню, Галя (так ее называли с детства) делала все по дому, помогая Анне Ивановне. Без Шакира и его дочки Анна Ивановна с уходом мужа на фронт просто бы пропала.

Этой Пасхой Анна Ивановна надумала проявить самостоятельность. Взяв кое-что из дома, в том числе хронометр фирмы «Мозер», она отправилась на Смоленский рынок. Вернулась гордая. Хронометр она выменяла на дюжину крашеных яиц и две буханки настоящего, с глянцевой корочкой, свежайшего черного хлеба. У Шакира глаза на лоб полезли: буханок он не видал с прошлого года, когда ввели карточки, и хлеб был только в виде нарезанных паек. Шакир разрезал буханку – и чуть не заплакал: мошенники вскрыли буханку, обрезав под кор-

кой, выскоблили мякиш, туго набили газетами и приклеили корку на место. Анна Ивановна в слезы. Слава богу, хоть яйца были яйцами.

После этого случая дворник категорически запретил ей самовольничать, а то все отпишет Алексей Петровичу. Отец Петра знал, что выросшая за няньками и прислугой Анна Ивановна совершенно не приспособлена к жизни и, уходя на фронт, поручил Шакиру ее опекать, выхлопотав дворнику освобождение от мобилизации.

Несмотря на наши протесты, Шакир нас наголо остриг, заявив, что иначе из сарая не выпустит, а состриженное и сбритое сжег. Пока мы отмывали месячную грязь и отдраивали друг другу спины, дворник поделился своими политическими воззрениями.

Петька над ним подтрунивал, но мне слушать его было занимательно. Собственно, говорил он очевидности, но одно дело слышать это из уст моего деда контр-адмирала, и другое – от дворника. Кумиром Шакира был Петр Аркадьевич Столыпин.

– Сколько он для России сделал! Как она в рост пошла! – с благоговением восклицал дворник. – В десятом году и себя и Европу кормила. Треть мирового хлеба! С ним нынче бы ни войны, ни смуты. Так нежелан. Одиннадцать покушений! Пока вконец не ухлопали.

– Кому ж нежелан? – прикинулся Петр, опрокидывая на себя шайку и отфыркиваясь.

– А кому сильная Россия вперед всех поперек горла? Александра-то – немецкой крови…

– Так и Государь – немецкой.

– Николка? Какой немецкой – у немца порядок. Разве б Вильгельм такое смутьянство дозволил, как у нас нынче. Армия разбеглась, сами оттудова, железка стоит. Ни хлеба, ни дров. Того гляди забор стянут. Уголовников повыпускали – боязно за ворота…

– Так Государя уж восемь месяцев нет! – вставил Петька.

– А кому он власть отдал? Слабый человек. А слабый царь хуже татарина.

Мы с Петькой грохнули.

– Ты ж сам татарин, Шакирка? – покатывался Петр.

– Потому и говорю.

– Так может, тебе в цари пойти?

Шакир усмехнулся:

– Не по Сеньке шапка. Не всякому Аллах править дал. Большой ум надо. Столыпин бы – вот был бы царь, второй Петр!

– Полюбился тебе Столыпин? – улыбнулся Петр.

– А кому такая башка не полюбится? Разве завистникам. Умственный человек был. Работящего мужика выделил, всякую ему помощь, лодырей – пинком под зад. Эти нынче, бузотеры: «Землю – крестьянам!» Лодырям и ярыгам? Кто был никем, никем и будет.

– Большевиков имеешь в виду? – уточнил я.

– Кого ж еще, первые уголовники и есть. С шайтаном их картавым. Пес германский. Старший братец на Александра покусился, а этот – так на всю Россию…

Петр улыбнулся:

– А я, грешным делом, подумал – Шакирка в большевики записался.

Дворник возмущенно фыркнул:

– Шакирка на чужое не зарится. И свое не даст. Ежли силой отымут. Вон… – Он показал на какие-то обернутые рогожей цилиндры.

– Бочки? – уточнил Петька.

– Стиральные механизмы, «Карл Миле», – не без гордости сказал Шакир. – Германцы их еще до войны завезли, а сметливый люд под маслобойки приспособил. А нынче-то что сбивать? Скоро и воды не будет. Вот четыре механизмы у них купил. Прачечную мечтаю устроить, уж и названьице придумал: «Шакирка». А? Сперва тут, пойдет – по Москве, а там, глядишь, по всей России. Сызмала без дела не сидел. Сколько ремесла выучил! Все могу: плотничать, лектричество, водопровод… Со всей округи ко мне: «Беда, Шакирка, помогай!»

Шакирка помогал. Копейку к копейке ложил. Не пил, не разгульничал. А нынче бузотеры-то что: «Фабрики – рабочим!» Это прачкам ленивым я мои «Шакирки» отдам? Нет, с шайтанами у Шакира Шайдулина разный юл.

Майклу вспомнился разговор с внучкой Шакира. Помимо того, что его интересовало, она рассказала о своем деде. С началом нэпа Шакир открыл-таки прачечную, где работал с женой и дочерью. Дело шло бойко, он подумывал открыть вторую и спросил совета у отца Петра. Тот посоветовал повременить и пойти учиться. Как в воду глядел. На нэпманов начались гонения, содержать и одну-то прачечную потеряло смысл, и Шакир сдал патент. К этому времени он заканчил рабфак и собирался поступать в Плехановский институт, но ему предложили работу мастером в государственной прачечной. Институт закончила дочь, Галия, и со временем стала директором банно-прачечного комбината. А дочь Галии, с кем Майкл и встречался в Москве, поработав на том же комбинате, была избрана там в профком, а на пенсию вышла будучи заместителем председателя райисполкома.

Сколь значительны эти должности Майкл оценить не мог, но по гордости, с какой это сообщалось, догадывался, что довольно высокие. «Вот тебе и «шайтаны-большевики»! – усмехнулся Майкл и вернулся в октябрь 1917 года. Отец писал:

Двое суток мы отсыпались, пробуждаясь поесть, и заваливались опять. На третьи проснулись сами, как чувствовали. Галия принесла завтрак. За месяцы окопной жизни я отвык от вида женщин и пялился на нее. Она смущалась, но и сама поглядывала.

– Шакирка тебе секир-башка сделает, – не без ревности предупредил Петр, опасаясь вдобавок, как бы мои заигрывания с Галией не испортили ему отношения с дворником.

Недовольство Петр высказал, едва Галия вышла за чаем. Я заявил, что ни минуты не останусь в доме, где мне указывают, на что я могу смотреть, на что – нет. Петр возразил, что смотреть я могу на что угодно, но не такими глазами. Я встал из-за стола и, дожевывая пирожок, ядовито поблагодарил за гостеприимство. Но рассориться мы не успели. Вместо Галии чай принес Шакир. Петр глянул на меня: мол, вот, дождался!

– Ну что, батыры, почаевничаете и на боковую? – ставя на стол шумящий самовар, притворно улыбался дворник.

Петр отвечал весело, радуясь, что дворник если и сердится, то не очень:

– Некогда нам, Шакирка, разлеживаться. Пойдем Андрюхе Кремль покажу.

На лице дворника отразилась растерянность.

– Что? – удивился Петр.

– Так ведь… Нынче, э… – промямлил Шакир, – ветрюга, добрый хозяин собаку не выгонит. Спали бы себе отсыпались.

– Помилуй, и так уж все бока отоспали! – вступил я. – Охота Москву поглядеть.

Дворник помялся, его явно что-то заботило, но сказать не решался, а сказал:

– Ну пейте, не то состынет. – И с тем вышел.

То, что я заявил в запале, было глупо. Куда я уйду от Мартыновых? Кормить клопов в захудалой гостинице? На приличную денег не было. И не поеду же я на Дон без Петьки? Понятно, и Петр не хотел, чтобы я от них ушел. Оттого мы оба пили чай молча. Спустя несколько времени вошла его мама и с фальшивой улыбкой осведомилась, как нам спалось. Мы отвечали, что превосходно, и сейчас собираемся в город.

Брови Анны Ивановны сошлись домиком, губы дрогнули, казалось, сейчас заплачет.

– Мама, что с тобой? – всполошился Петр.

– Видишь ли… – решительно начала она, но замялась и, глянув на сына, жалобно улыбнулась: – Может быть, вам повременить, а? Пока совсем не окрепли.

В эу минуту в комнату заглянул Шакир.

– Вот и я им говорю! – услыхав ее слова, подхватил он.

– Да вы что, сговорились? – взвился Петр. – Отчего ж нам не выходить?

– В Кремль вы не попадете, – отвечала Анна Ивановна. – Там большевики заперлись.

– Что-о?! – в один голос вскричали мы, оторопело посмотрев друг на друга.

– Как это «заперлись», кто ж их туда пустил? – не поверил матери Петр.

– Полковник Рябцев, командующий Округа.

– Право, не понимаю, – недоумевал Петр, – с какой радости? Он что, большевик?

– А, соглашатель, – отмахнулась Анна Ивановна.

– Ни сана, ни мана, – ввернул Шакирка и обратился к ней: – Ну мы понесли, Ана Ивана? А батырам обед в кастрюльке на плите Галия отлила.

– Что понесли? – подозрительно спросил Петр.

– Да это, как его, – стал выкручиваться Шакир, – на Смоленский рынок…

– Мама! – строго сказал Петр. – Что ты еще хочешь продать прокормить нас?

Помню тот стыд, что я испытал в эту минуту. Как я раньше не подумал, каково прокормить нас в голодной Москве.

– Ана Ивана, у меня есть деньги, возьмите! – с горячностью сказал я.

– Спасибо, Андрюша, денег у меня довольно. – ласково поглядела она и, поколебавшись секунду открылась: – Борщ они в Александровское училище снесут.

– Борщ? – изумился Петр. – Зачем туда борщ?

Анна Ивановна беспомощно оглянулась на Шакира, но, понимая, что долее скрывать невозможно, сказала, что третьего дня в Питере произошел большевистский переворот. Временное правительство арестовано. Сейчас большевики готовятся захватить власть в Москве, и в Александровском училище собираются силы, чтобы дать им отпор.

– В Москве одних офицеров полста тысяч, там и без вас управятся! – заверила она и просительно посмотрела на меня, надеясь в моем лице встретить поддержу.

Я отвел глаза.

– Неужто ты думаешь, что мы станем отсиживаться в такую минуту дома? – сказал Петька и встал из-за стола. – Заодно борщ снесем. Андрюха!..

Я тоже встал.

– Послушай, Петруша! – буквально взмолилась мать. – Побойся Бога! Меня пожалей! Алешу потеряла, а ну как и тебя? Я это не переживу. – И заплакала.

Петр подошел и приобнял ее:

– Мама, где бы был папа, будь он нынче в Москве?

– Вот его и нет, – всхлипнула она. – А мог бы не ходить на эту проклятую войну!

– Значит, не мог. И я не могу.

– Отец хоть знал, за что идет воевать! А вы за что?

– Как и отец: за Веру, Царя и Отечество.

– Какого царя, Петруша?! – истерически рассмеялась мать. – Который нас предал? И Веру и Отечество? За кого вы пойдете складывать головы? За пустобреха Керенского?

– Не «за кого», а от кого, – вступил тут я. – От большевистского хама.

– Наше место там, – сказал Петр.

Мать не нашла больше доводов и обернулась к Шакирке, но тот лишь развел руками.

*

Встал вопрос, во что одеться. У меня выбора не было. Петр поборолся с искушением явиться в училище гардемарином и, как и я, пошел в солдатском, а под низ тельник.

Дом Мартыновых стоял в начале Нащокинского переулка, в пяти минутах ходьбы от Училища. Но мы шли с борщом, который норовил выплеснуть из-под крышки, особенно, когда перехватываешь ведро, и мы решили нести оба ведра одному по очереди. Выйдя на бульвар, мы поставили борщ, закурили и повернулись к собору.

– Хорош, а?! – горделиво сказал Петр. – Храм Христа Спасителя, поставлен в честь победы над Наполеоном. Между прочим, даже выше, чем ваш Исакий.

Скажи он просто «Исакий», я бы спорить не стал, хотя мне казалось, Исакиевский собор все-таки выше. Но в этом «ваш» прозвучало задевшее меня противопоставление его Москвы моему Питеру.

– Помилуй, ничуть! – возразил я.

– А я говорю – выше! – поднял голос Петр. – Не намного, но выше. Я читал.

– Чепуха! – поднял голос и я. – Бумага любую чушь стерпит. Был бы выше, из твоего дома был бы виден, а из нашей квартиры Исакий видно!

– Из моего – дома загораживают!

– Оттого и загораживают, что ниже!

Не знаю, до чего б мы доспорились, если б не голос за спиной:

– Куда господа солдаты путь держат?

Мы обернулись. За спором мы не заметили, как подошел юнкерский патруль.

– Или вы «товарищи»? – с ехидцей сказал юнкер. – Тогда простите великодушно.

– Несем борщ к вам в училище, – зло сказал Петр, еще не остывший от нашего спора и подогретый гаденькой ухмылкой этого не нюхавшего пороха молокососа.

– Ваши пропуска, – с тою же ухмылкой спросил юнкер, очевидно старший патруля.

– Какие те пропуска! – рыкнул в ответ Петр.

– Откуда ж у нас пропуска, – вступил я, – мы только из действующей армии. Узнали, что тут происходит, и сразу к вам.

– Борщок-то с действующей армии несете? – снова съязвил юнкер, видно впервые назначенный старшим в боевой патруль и упивающийся своей маленькой властью. – Или на Скобелевской сготовили, с ипритом заместо чесночка и горчички?

На Скобелевской площади в доме генерал-губернатора помещался штаб большевиков, чего мы еще не знали, но смысл поняли.

– Ах ты падла вонючая! – взвился Петр. – Тебе не юнкером, а говно из ямы выгребать! Вша сопливая! – И двинул на юнкера. – Я те покажу Скобелевскую, мамка не узнает!

Ухмылочка разом слетела с юнкерского лица и он непроизвольно попятился, выставив против Петра штык.

– Стрелять буду! – прокричал он сорвавшимся на визг мальчишеским голосом.

– А ты умеешь? – съязвил на сей раз я.

– Я… – глянул он на меня, губы его прыгали. – Арестовать их! – визгливо выкрикнул он.

Юнкеров было пятеро, вооруженных, они не ожидали встретить отпор и смешались.

– Арестовать! – взвизгнул старший.

– А борщ, что с борщом? – спросили его юнкера.

– Вылить! – истерически выкрикнул он.

Лицо Петра сделалось мертвенно-бледным.

– Ах ты сволочь этакая! – прошипел он. – Мать от себя оторвала вам сготовила. А ты, сморчок, «вылить»?! – И расставя руки, попер на него – сейчас задушит.

Юнкер отпрыгнул и передернул затвор, направя винтовку на Петьку. Я, грешным делом, сдрейфил, подумав, что нестрелянный воробей может с перепугу и пальнуть.

– А борщок-то зна-ат-ный! – сколько мог смачно протянул я, чтобы отвлечь юнкера. – С салом! – И причмокнул.

– Да усрись ты своим большевистским борщом! – истерично прокричал старший и ткнул пальцем на одного из своих, назвав по фамилии: – Вылить!

Названный с явной неохотой подошел ко мне. Я смиренно отступил от ведер, встав так, чтобы быть к остальным левым боком.

– На жалко борщечка? – сказал я и, стараясь не шевельнуть плечом, просунул правую руку в шинель и нащупал рукоятку браунинга.

– Выливать? – видно, сомневаясь в разумности приказа, спросил юнкер у старшего.

– Выливай! И поведем их.

Юнкер наклонился к ведру, а я выхватил пистолет и приставил к его затылку:

– Не двигаться! Мозги выпущу.

Юнкер замер, остальные оторопели, и Петька, подскочив к старшему, пригнул ему винтовку к земле. Бах! Это палец юнкера непроизвольно нажал на спуск. Юнкер вздрогнул от неожиданности, и Петьке мигом его разоружил.

– А ну складывай оружие! – клацнув затвором, скомандовал Петр. – И без глупостей! Я не в стрелковом зале упражнялся. Ну, живо!.. Куда на землю – в козлы ставь! Не учили?

Вид у Петра был нешуточный, и юнкера один за другим, не глядя друг на дружку, составили винтовки. Старшему ставить было нечего, и он лишь поглядывал на нас звереньшем. Не знаю, как Петру, а мне этого пацана стало жалко. И уж как жалко его было, когда на третий день, отбив у большевиков дом, мы увидали этого мальчишку лежащим с прострелленной головой.

– А вам, юнкер, особое приглашение нужно? – вежливо сказал я своему, позволяя ему разогнуться, но держа под пистолетом.

Косясь на мой браунинг, он пошел поставил винтовку и присоединился к своим.

– Ну что, в училище ведем, – обратился ко мне Петр, – или ну их на хер?

Ответить я не успел. Со стороны храма к нам бежал офицер, размахивая наганом и крича. Завидя подмогу, юнкера осмелели и стали поглядывать на свои трехлинейки.

– Команды «в ружье» не было! – строго предупредил Петр.

Офицер, прапорщик, подбежал и запыхавшимся голосом крикнул:

– Не стрелять! – И видя, что мы держим юнкеров под прицелом, стал наводить наган то на меня, то на Петра. – Кто стрелял?

– Кто стрелял, пусть и ответит, – буркнул Петр и сплюнул.

– Что здесь происходит? – обращаясь к нам, спросил прапорщик.

– Уже произошло. – И кивком указав на юнкеров, я вернул браунинг в карман.

За мной и Петр разрядил винтовку и, верно, на память, спрятал патрон в карман. Видя наш миролюбивый настрой, прапорщик сунул наган в кобуру и спросил, кто мы.

– Они под видом, что несут борщ, хотели проникнуть в училище! – опередил нас старший юнкеров. – Мы их задержали.

– Как задержали – я вижу, – улыбнулся прапорщик.

Юнкера прятали глаза, а старший, верно, в оправдание выкрикнул:

– Они без пропусков.

– Так и я без пропуска, – улыбнулся прапорщик. – Утром приехал, узнаю и… С корабля на бал. – И представился нам: – Прапорщик 217-го полка Петров. А вы, позвольте узнать?

– Гардемарин Мартынов, Петр, – представился Петька. – В известном смысле тезка.

– Ба! – удивился прапорщик, верно, сбитый с толку нашими солдатскими шинелями.

– Мы из действующей армии, – пояснил я. – Едем на Дон. По пути завернули навестить его матушку и тоже только утром узнали. Она борща наварила александровцам…

– Мой отец до войны преподавал у них тактику, – пояснил Петр. – Полковник Алексей Петрович Мартынов. Случаем не встречали? С осени 14-го никаких известий. Он был в армии генерала Самсонова.

– О! – понимающе покивал Петров. – А я в 1-ой, у Ранненкампфа. Мы тогда честили своего генерала – самсоновцам не помог. Телился, телился, пока…

В эту минуту я увидел, как юнкера подталкивают к нам старшего. Тот подошел и, покраснев до цвета борща, принес извинения. Мы приняли. Прапорщик велел юнкерам продол-

жать патрулирование, а мы втроем двинули к училищу. Дорогой прапорщик вкрадце обрисовали обстановку, в коей был уже довольно осведомлен.

Он сообщил, что вчера командующий округа пролковник Рябцев вывел из Кремля охрану юнкеров и впустил большевиков, которые грузовиками забирают из Арсенала оружие и везут по заводам.

– Что он, сдурел?! Это ж позор! Предательство! – возмутились мы.

– Ведет себя, по меньшей мере, странно, – согласился прапорщик, – со вчерашнего дня не найдут. К ночи Кремль обложили александровцы, а 2-я школа прапорщиков с Москва-реки. Сейчас к училищу сходятся, кто хочет помочь. Студенты, гимназисты… С офицерами пока туго. А главное – нет общего руководства.

– Студенты, гимназисты проходят, а нас задержали, – беря у Петьки ведра, хмыкнул я. – Не иначе цвет борща насторожил.

– Ваши шинели, – улыбнулся прапорщик. – Как вы их, пятерых, обезоружили?

Мы довольно переглянулись, и я сказал:

– Солдатская находчивость!

– Молодцами, молодцами. Побольше бы нам таких солдат! Ну ничего, Москва не Питер, матросни здесь нет, не в обиду гардемаринам будет сказано…

– Отчего ж в обиду, – сказал Петр, и мы рассказали, что матросы творили в феврале в Питере, о бунте на крейсере «Аврора», а еще прошлым летом в Кронштадте. Прапорщик в свою очередь поведал о настроениях в запасных полках.

На подходе к Арбатской площади мы увидели у Художественного электротеатра толпу разномастных шинелей: черных студенческих, светло-серых у гимназистов и цвета зеленого лука на учениках реальных училищ. Толпа гудела, все норовили попасть в здание. Как пояснил Петров, там запись добровольцев. У электротеатра он сказал, что ему надо кого-то повидать, а я взял у Петра ведра, моя очередь, и мы пошли в училище.

У входа толпились юнкера, в основном из школ прапорщиков. Офицеров почти не видно. Петька командным голосом сказал мне:

– Расстегнись!

– Мне не жарко, – буркнул я, недовольный его тоном и не понимая зачем.

– Ворот расстегни! – сказал он, расстегивая у себя крючки и открывая напоказ тельник. – А то опять примут за революционных солдат.

– А так за революционных матросов, – хмыкнул я, однако расстегнулся.

– Объясним.

Думаю, ему нравилось объяснять, что мы гардемарины. Не скрою, и мне. Не знаю уж, сознавали мы или нет, но, выставляя тельники, мы как бы выделяли себя. Мальчишеская бравада? Ведь хотя мы и побывали на войне, мы оставались мальчишками, такими же как воробышки, среди кого мы оказались. Впрочем, и сейчас, на склоне лет, мальчишка во мне жив, что дает моей жене повод называть меня «вечным гардемарином».

Подойдя к дверям, Петр гаркнул: «Расступись!» Я в свою очередь: «Дорогу красному борщу! Обварю!» Народ расступился, а какой-то студент, по петлицам – универсант, вслед поинтересовался:

– А почему красный?

– А потому что со свеклой! – огрызнулся Петр и, обернувшись ко мне, прошипел: – Еще бы «большевистский» сказал!

Борщ оставили на входе у дежурного, предупредив, что прислан женой полковника Мартынова, дабы опять не подумали, что он с каким-нибудь ипритом или льюизитом, и спросили, к кому нам обратиться. Дежурный неопределенно махнул рукой. В коридорах толчея, но спросить не у кого, а те, у кого спрашивали, отвечали – запись добровольцев в электроте-

атре. Мы буркали, что мы не добровольцы. Наконец увидели объявление, что собрание офицеров Московского гарнизона в Сборном зале.

– Идем, заодно увидишь, – сказал Петр. – С нашим Столовым не сравнить, но неплох.

У дверей переминалось несколько юнкеров. Мы заглянули, но и в зале одни юнкера. У стола стояли три офицера, а со стола что-то с пафосом вещал какой-то генерал.

– А где ж офицеры собираются? – спросил Петька.

– Офицерское собрание в три, – ответил юнкер, любопытно глянув на наши тельники.

– А здесь что? – спросили мы.

– Митинг.

Мало их было на передовой! Петька повел меня дальше, сказав, что каптенармус 3-ей роты знает его с малолетства, когда отец его еще за ручку в училище приводил. Какой-то лесенкой мы спустились в ротный цейхгауз. Пожилой каптенармус встретил нас, вернее наши тельники, недоуменным взглядом.

– Не признаете, Иван Василич? – улыбнулся ему Петька.

В глазах каптенармуса что-то затеплилось:

– Петя? Петя Мартынов? Ты? – просиял он. – Ну… Ну… Ну ты хорош! А вымахал-то, небось отца перерос! Про Алешу ничего?.. – спросил он, хотя знал, что ничего, и перевел разговор: – Молодцом, училище не забываешь. А что ж ко мне ни разу не заглянул? Ну да я не в обиде, Анна Иванна захаживает, знаю про тебя. Товарищ твой?

– Ага, Андрей. С первого дня в одной роте.

– Еще годик – и мичманы? – улыбнулся каптенармус.

– Нашу роту уже произвели, ускоренный выпуск. А нас ни через годик, ни через…

– Господи Боже мой! Позвольте, чем же вы провинились?

– Отказались присягать Временному правительству.

Каптенармус смутился: быть после февраля монархистом стало небезопасно.

– Весь в отца! – сказал он фальшивым голосом. – Алеша был бы жив, тоже, верно… – И с притворной бодростью поправился: – А Господь его ведает! Может статься, и жив…

Видя его неловкость, Петр поспешил сменить тему, сказав, что мы с передовых позиций, опыту поднабрались и могли бы быть полезны, но не знаем, к кому обратиться.

– С точностью не скажу, такой кавардак царит! – покачал головой капер. – Знаю, что формированием рот вроде как занимается начштаба округа полковник Екименко.

– Вот те на! – огорчился Петька и пояснил мне: – Штаб на Пречистенке, рядом с домом! А мы сюда поперлись…

– И правильно, что сюда, – улыбнулся каптенармус, – оперативный штаб у них здесь. Канцелярия где – помнишь? Он там и сидит.

– О! – обрадовался Петька. – Тогда, Иван Василич, просьба: нам бы патрончиков. Мне для нагана, а Андрюхе для браунинга.

Каптенармус на миг смешался, затем уточнил у меня калибр:

– «Девятка»? Знатная вещица! – Он суетливо вышел, скоро вернулся, пряча что-то за спиной и вручил нам по коробке патронов. – Живо по карманам! – И пока мы рассовывали, он, поглядывая на дверь, пояснил: – Эти только для офицеров, увидят – нагоняй получу. – И саркастически усмехнулся: – Правда, они отчего-то разом подали рапорта о болезни. А то вообще нынче не явились.

– Эпидемия храбрости, – хмыкнул Петр.

– Не иначе, – хихикнул коптенармус. – Ну, с Богом, гардемарины!

Петр повел меня в канцелярию. В первой комнате штабс-капитан, видно, адъютант, тюкал двумя пальцами на Ундервуде. Когда нужная буква исчезала, он блуждал глазами по клавишам, пока та не возвращалась. Мы спросили, где сидит полковник. Он, не отводя взгляда от машинки, кивнул на дверь во вторую комнату. Мы постучали и вошли.

Полковник сидел за столом, подперев голову руками, и устало твердил горячившемуся перед ним офицеру: «Обходитесь своими средствами». Когда офицер вышел, мы хотели представиться, но тут стремительно вошел другой полковник, высокий, импозантного вида. Не в пример начштаба он был энергичнен, подтянут, небольшие усики над твердым ртом и аккуратно причесанные на пробор волосы. В нем было обаяние мужественности и благородства. При виде его начштаба подобрался, сел прямо и изобразил улыбку:

– Присаживайтесь, Леонид Николаич, рассказывайте. Чем порадуете?

– Рассиживаться недосуг, благодарю. Отряд мной сформирован. Решено назвать: «Белая гвардия».

– У них Красная, а у нас, значит, будет Белая? Недурно, недурно…

– У них жажда крови, а у нас чистота помыслов, – отвечал полковник и напористо продолжал: – Мне совершенно необходимы два-три офицера и хотя бы десяток юнкеров.

Лицо начштаба моментом потускнело.

– Нету-с, голубчик, Леонид Николаич. Случись, кто из офицеров подойдет – они ваши. А юнкерами я не распоряжаюсь, это к начальнику училища…

Едва полковник вошел, мы с Петром разом сообразили, что не начальник штаба, а именно этот полковник нам и нужен, и только ждали случая заявить о себе. Петька кашлянул, за ним я, дважды. Оба офицера оглянулись.

– А это что за анархисты? – весело обратился к нам вошедший, имея в виду тельники.

– Никак нет, господин полковник! – отвечал я, намереваясь представиться, но Петька меня опередил, назвав себя, а затем и меня, как будто он старший.

С глазу на глаз я бы вставил ему фитиля, но и признать смолчав его старшинство тоже не годилось, и я, не сморгнув глазом снова представил нас, но в обратном порядке:

– Гардемарин Иевлев и гардемарин Мартынов.

Полковник, верно, понял меня и, глядя на нас смеющимися глазами, представился:

– Полковник Трескин. Ныне состою при Его Императорского Величестве Великом Князе Михаиле Алексаныче Романове.

От явно высказанной полковником приверженности монархии, начштаба заерзал, да так, что я испугался, как бы под ним не развалился стул.

– Прибыл в Москву на лечение – и вот такая катавасия, – тем временем невозмутимо продолжал Трескин и спросил с улыбкой: – А какими ветрами занесло сюда гардемаринов? Никак бриг «Наварин» снялся с якоря в Столовом зале и вошел в устье Москвы-реки?

Я удивился, откуда сухопутный полковник знает о полуразмерной модели брига, что установили в Столовом зале Корпуса в честь Наваринского сражения, и Трескин, глядя на наши удивленные физиономии, рассмеялся.

– Могу я получить гардемаринов в мое распоряжение? – спросил он начальника штаба.

– Я флотом не распоряжаюсь, батенька, – пробурчал тот, верно не чая поскорей от монархиста отделаться.

– Как, моряки, пойдете ко мне в отряд? – обратился к нам Трескин. – Народ боевой составился, ваши сверстники, студенты. Они и придумали: «Белая гвардия». Одна беда: оружия в руках никто не держал. Вот бы и подучили, а?

– Мы бы хотели к Кремлю, господин полковник, – возразил Петр, пояснив, что его товарищ, то есть я, в Москве в первый раз, ничего не видел…

Трескин насмешливо покивал:

– Понимаю, гардемарины приехали с достопримечательностями Белокаменной познакомиться. Время самое подходящее. Что ж, господа, не смею настаивать. – Он спросил у начштаба разрешения идти и направился к двери.

Я готов был сквозь землю провалиться и устремился за полковником с криком: «Мы согласны!», Петька за мной. Выйдя в первую комнату, Трескин повернулся к нам:

– Вот и хорошо. – Он собирался что-то сказать, но тут влез Петр.

– Мы здесь не за достопримечательностями, господин полковник, – высказал он обиду. – Мы только с фронта. Пробираемся на Дон. В Москву заехали к моей матушке, и вот…

– С фронта? – живо спросил Трескин. – С какого ж?

– С Западного, – ответил я. – Если можно это назвать фронтом.

Разумеется, он был наслышан о том, что творится в армии, но услыхав от нас, из первых рук, о массовом дизертирстве, расправах над офицерами, с сердцем проговорил:

– Доигрались наши горе-генералы в либерализм. Государя согнали, армию развалили, карьеры сделали, а теперь кричат: «Караул! Спасай Россию!» А спасать кто должен? Необстрелянная молодежь? А! – горько крякнул он. – Пойдемте, господа, к отряду.

Я заметил полковнику, что нам неплохо бы пропуска, а то утром нас уже задержали. Он сказал адъютанту, который разыскивал очередную букву и отвечал, что как только допечатает страницу. А я воспользовался паузой и спросил, кем полковник состоит при Великом князе. Он отвечал, что князь под домашним арестом, и он, Трескин, охраняет князя от приставленной к нему Временным правительством охраны.

– А до этого, командовал батальоном печально известного лейб-гвардии Волынского полка, – продолжал он. – Доведись встретить каналью Кирпичникова, без колебаний всажу ему пулю в лоб.

Не вспомню уж, описывая события февраля 1917 года, упоминал ли я фельдфебеля Кирпичникова, подбившего на бунт учебную команду волынцев, к кому примкнули другие части Петроградского гарнизона, рабочие, декласированный элемент, что и привело к падению монархии. Временное правительство подняло Кирпичникова на щит, объявило первым солдатом революции. Забегая вперед, скажу, что спустя год, «первый солдат революции» свою пулю получил. Бежав от большевиков в Добрармию, он явился гоголем к полковнику Кутепову, где был расстрелян.

Дело с допечатыванием затягивалось, а Трескин спешил к своему отряду и, уходя на внутренний плац, посоветовал не терять время и получить винтовки и учебные гранаты.

Граната – оружие пехоты, мы знали лишь устройство, ни в Корпусе, ни на фронте метать нам не приходилось, но не могли же мы, фронтовики, в этом признаться. Выйдя за полковником, мы направились в цейхгауз. Иван Васильевич шутливо удивился: неужто мы успели расстрелять все патроны? Мы получили винтовки, и учебные гранаты, в том числе английскую Миллса, – такую, но боевую, напомню, я прихватил с фронта.

*

На плацу шли занятия. Отряд Трескина разбили на роты и взводы, а взводными были назначены юнкера, коих полковнику все-таки удалось добыть. Повзводно студентов подводили к нам, и мы знакомили их с устройством гранат. Народ оказался дотошный, и нам пришлось повертеться, дабы не осрамиться перед их юнкером, кто не в пример нам не только знал теорию, но и упражнялся в метании на лагерных сборах.

Один универсант, тот самый, что сострил по поводу «красного» борща, забавлялся:

– А что, если она рядом упадет?

– У вас есть три-четыре секунды укрыться, – сухо отвечал я.

– А если не за что? – не унимался он.

– Падай на землю и закрывай голову, – в тон мне сухо ответил Петр.

– Поможет? – изгалялся студент.

– Иначе до кладбища не доползешь, – с серьезной миной заверил Петька.

Студенты грохнули, а я позавидовал его находчивости. В эту минуту мы услышали:

– А, вот они где, мои гардемарины!

К нам спешил прапорщик Петров и с ним унтер-офицер. Петров сказал, что мы, с разрешения полковника Трескина, поступаем в его распоряжение. Мы передали гранаты унтер-офицеру и пошли. Дорогой Петров сообщил, что по предложению Трескина им сформирован особый отряд. Еще накануне были случаи обстрела юнкерских патрулей с крыш, и в нашу задачу входит очистка домов от просочившихся туда большевиков.

Мы переглянулись, гордые сознанием, что нам, как фронтовикам, поручают истинно боевое дело. Однако наша самонадеянность мгновенно исчезла, едва Петров подвел нас к отряду. Тот состоял из одних солдат-ударников, оказавшихся в эти дни в Москве, а два бородача, с черно-красными погонами, из Корниловского ударного полка, один с лычками унтер-офицера. Этих двух корниловцев мне надобно будет упоминать не один раз, посему сразу скажу, что унтера называли в отряде Карпычем, а его товарища – Аникеичем. У всех ударников на борту шинелей красовались Георгиевские ленточки.

Впервые ударный отряд сформировали в 8-ой Армии генерала Корнилова. Идея была в том, чтобы на фоне царивших в войсках пораженческих настроений создать из готовых сражаться за Россию солдат и офицеров особые части, которые бы примером побудили разваливающуюся армию воевать. Корнилов взял личное шефство над отрядом, на основе которого вскоре был сформирован Ударный полк. По примеру Корниловского начали формироваться другие ударные части, под разными названиям: «ударный батальон», «батальон смерти» и прочая, но на одном принципе – добровольности и готовности умереть за Родину. Недостатка в добровольцах не было, однако принимали не всех, а после строгого отбора; к примеру, имевших судимость в ударники не брали.

Наряду с участием в боях добровольцы жесткими мерами наводили дисциплину в соседних частях, и будь ударники на участке фронта, где были мы с Петькой, судьба нашего комполка полковника Брагина скорей всего была бы иной. Но добровольцы стремились попасть именно на Юго-Западный фронт, к Корнилову, решительность которого завоевывала генералу все большую популярность в войсках.

Представив нас отряду, прапорщик под одобрительные усмешки поведал, как мы обезоружили пятерых юнкеров. Помню, я испытал неловкость: ну какие, право, мы молодцы для этих гренадеров, которых направляли в самое пекло боев.

– Не дрейфь! – шепнул Петька, и мне стало легче, оттого что и он дрейфит.

Прапорщик принял строгий вид и обратился к нам:

– Подтвердите, что вы вступаете в отряд совершенно добровольно.

– Так точно, – ответили мы.

– Карпыч, – сказал он унтеру, – приведи добровольцев к присяге.

Мы переглянулись: какая еще присяга! Если Временному правительству – откажемся. Карпыч вышел из строя и остановился перед нами.

– Обещайте: приказы сполнять без разговорчиков.

Мы обещали.

– Пособлять товарищу… Наступать вперед всех… Не драпать… Не сдаваться в плен живым… Не пьянствовать.

Последнее нас несколько удивило, но мы обещали все.

– За несполнение энтой присяги погоним в шею, – заключил унтер.

От возмущения кровь бросилась мне в лицо: за пацанов нас принимает? Я глянул на лица ударников и ни у одного не увидел ухмылку. Они были серьезны, если не суровы.

– Встать в строй! – скомандовал прапорщик.

Тут мы разошлись: длинный Петр занял место на правом фланге, а я ближе к левому. Из строя я увидел, что студенческий отряд распустили, и один студент спешит к нам. Это был тот самый универсант. Подбежав, он по-штатски обратился к прапорщику:

– Можно мне тоже с гардемаринами?

– Знакомые, что ли? – спросил Петров, но ни я, ни Петька ответить не успели.

– До некоторой степени, – опередил нас универсант.

Что он имел в виду: что ехидничал по поводу борща или валял дурака с гранатой?

– Вы его знаете? – спросил у нас прапорщик.

– До некоторой степени, – усмехнулся я.

– Дело-то у нас опасное, – глядя на студента, сказал Петров.

– Потому и прошусь, – ответил тот с подкупающей простотой. – Я хорошо стреляю.

Я не сомневался, что прапорщик даст ему от ворот поворот, и меня кольнуло, когда Петров повернулся к строю и весело спросил:

– Ну, что с ним делать?

– Можно спытать, – отозвался кто-то.

Выходило, нас, гардемаринов, побывавших на войне, ставят с ним на одну доску?

– Готов за свободную Россию отдать жизнь? – спросил Петров.

– Коли со смыслом – отчего ж, – ответил тот просто.

Искренность его подкупила, даже меня. И что меня порадовало – что его не привели к присяге, как нас, а стало быть, не подводили под один знаменатель.

Распустив строй, прапорщик пошел получить задание, а мы закурили. Я предложил студенту портсигар, и по тому, как тот взял папиросу и прикуривал, понял, что это первая в его жизни. Понятно, он тут же закашлялся и признался, что не курит.

– И не кури, – сказал кто-то, забрав у него папиросу и затягиваясь. – Курево у нас на вес патронов, а патроны на вес золота. На кого учишься-то?

Студент почему-то смутился.

– На ботаника, – сказал он.

– Каво-каво? – переспросили ударники.

– Ну… – собрался он объяснить, но тут Петька расхохотался:

– А, вот почему вас красный цвет борща заинтересовал!

Студент обиженно глянул и вслед сам засмеялся:

– А без бетаина были бы щи, верно? – уел Петьку познаниями «ботаник», прозвище, что за ним закрепилось в отряде, и иначе его не называли.

Подошел Петров. Разбив нас на два отделения, – мы с Петькой в разных, – прапорщик вывел отряд из училища. Мы пересекли Арбатскую площадь, где юнкера сооружали баррикаду, дошли до Никитских ворот и разделились. Прапорщик повел свое отделение по Большой Никитской направо, а мы под командой Карпыча налево, полуотделениями по обе стороны. Старшим у нас унтер назначил Аникеича, напомню, второго корниловца.

Шли держась домов, что показалось мне излишним. Извозчиков на улице не было, трамваи не ходили, но народу было довольно. Все шли торопливо, верно, дела выгнали из дому. Праздных я не увидел, не считая ребятни, толкущейся возле юнкерских постов.

Чем руководствовался Аникеич, выбирая, какие дома осматривать, я так и не понял, верно, интуицией. Чаще заходили со двора, поднимались по черной лестнице на чердак, заглядывали на крышу. В одном месте обнаружили у слухового окна стреляные гильзы. Ботаник сострил, что они там с девятьсот пятого года, но гильзы были свежие.

Спустя несколько часов мы дошли до последнего юнкерского поста у баррикады из ящиков, я с ходу плюхнулся на один и вытянул ноги, гудящие от бесконечного взбирания по лестницам. Так ноги не уставали даже в Корпусе, когда гоняли по вантам.

Перекурив, мы двинули обратно. В училище пришли – было совсем темно. Отделение, где был Петька, также никого не обнаружило, даже стреляных гильз. Петров повел всех в столовую, а мы отпросились сбегать домой за моим Кодаком. Ботаника отпустили тоже, и до Пречистенских ворот мы шли вместе – он жил в двух шагах от Петра, на Волхонке. Дорогой выяснили, отчего, попросясь в отряд, он сослался на нас. Оказалось, его товарищ

после второго класса гимназии уехал и поступил в Морской корпус – мы его знали он шел годом младше. Ботаник тоже хотел, но его не отпустили родители.

Дома мы навернули «большевистского» борща, повеселив всех рассказом, но без подробностей нашего геройства, чтобы понапрасну не волновать Анну Ивановну. Она поставила перед нами графинчик с водкой, но мы, памятуя данное ударникам обещание, сказали, что выпьем, когда побьем большевиков.

Спали мы в гимнастическом зале училища на матах. Среди ночи нас разбудил крик:

– Господа, Кремль за нами!

Спросонок на юнкера окрысились, но затем стали расспрашивать. По его словам, Кремль взяли почти без боя. Какой-то прапорщик, знавший там все ходы и выходы, провел взвод александровцев через потайной вход у Боровицких ворот. Сняв караульного, открыли ворота, затем Никольские. На пути к Спасским по ним открыли огонь и кого-то ранило, но ворота открыли, и в Кремль вошли юнкера с Красной площади.

Все снова улеглись, а ботаник еще продолжал расспрашивать юнкера про ранения, и я догадался, что он не то чтобы дрейфил, но впервые почувствовал, что пришел не на практику по сбору гербария.

Когда Петров привел нас на завтрак, столовая полнилась противоречивыми слухами о том, что произошло этой ночью в Кремле. Ни тогда, ни в гражданскую, ни будучи уже в эмиграции и встречая участников того боя, я так и не смог узнать, что же было на самом деле, и что, по моему убеждению, послужило толчком к ожесточению инертной до этого солдатской массы.

Одни говорили, что у Арсенала митинговали, и когда вошли юнкера, солдаты открыли по ним огонь. Другие утверждали, что солдаты начали разоружаться, но увидев, что юнкеров всего две роты, снова похватали винтовки, но по ним от Троицких ворот ударил пулемет. По словам третьих, пулемет стрелял не от Троицких, а с крыши Думы, но там нашли только пулемет, пулеметчик сбежал. Еще рассказывали, будто стрелять начали рабочие Арсенала. В это время появились два кремлевских броневика, солдаты решили, что это свои, но броневики открыли огонь по ним. Менялось и число убитых, начиная с полсотни и доходя до пятисот.

Ударники событие не обсуждали, но по их мрачным лицам я догадался, что расстрел солдат, таких же, как они, крестьян, не одобряли. Тут некстати выступил ботаник:

– И поделом! Сидят в тылу, их кормят, одевают! Живут за Кремлевской стеной как у Христа за пазухой! Так бунтовать! В юнкеров стрелять!..

На него глянули из-под насупленных бровей, а один недобро спросил:

– В тебя стреляли?

– В меня? Меня там не было, а то бы… Будут еще и в меня!

– Тогда и скажешь.

– Погоди, братцы, давайте разберемся. – Я обвел глазами стол и остановил взгляд на оппоненте ботаника. – Коли солдаты складывали оружие, с какой радости стрелять в них? Вот ты на войне с самого начала, так?

– Ну, – не понимая, куда я клоню, насторожился ударник.

– Во всю войну ты хоть одного офицера видел, кто в пленных стрелял? Не то что в своих – даже в германцев! Видел?

– Я уж запамятовал, когда пленного германца видал, – выкрутился ударник.

– Ну как же, – возразил Карпыч, – а австрияков?

– Так австрияков, – вяло отбрехался тот.

– Погоди, дай досказать! – повысил я голос, решив донести свою мысль. – Так вот, офицер в безоружного стрелять не станет, даже если хочется. Честь не позволит. А юнкер –

будущий офицер, его в офицерской чести воспитывают. Мы с Мартыновым тоже, считай, юнкера, только морские. Отсюда, братцы, и вывод: стреляли не юнкера.

– А кто ж, ежли не юнкера? – возразил кто-то.

– А ты пораскинь мозгой, – догадавшись, к чему я веду, вступил Петр. – Кому на руку?

– Не большевикам же?

– Отчего ж не большевикам?

– Ну раз они к ним примкнули – какой резон?

– А резон такой: они полста положили или сколько, зато остальные – что?

– Звероватъ начнут.

– И молву разнесут! Дескать, юнкерам не сдавайся, все одно прикончат.

– Большевистская провокация! – ободренный нашей поддержкой, вставил ботаник.

– Почему пулеметчика не нашли? – продолжал я. – А потому и не нашли, что стреляли не юнкера, но чтоб на юнкеров подумали.

– И стоко наруду положить? – с сомнением сказал кто-то.

– Да большевик за свою поганую идею мать родную не пожалеет! – подытожил я и принялся за почти остывшую кашу.

– Можа и так, можа и провокаца, – согласился кто-то. – А что, сказал, у их за идея?

– А идея у них, – с полным ртом каши отвечал я, – чтобы все всем поровну.

– По справедливости, значица. Чем погана?

– А поганая тем, что… – вступил Петька, видя, что иначе мне не дадут поесть, – вот ты, к примеру. Рано-поздно – войне конец, так? Домой вернешься. Что станешь делать?

– Коли ворочусь… – расплылся ударник. – Первее всего хозяйство выправлю, бабе-то не в подъем. Коровенка, можа, еще и цела, а то съели – письма-то за мной не поспевают. Коняка был добрый, что броневик. Реквизовали на войну. На себе пахать буду, можа, с первого урожаю не куплю, а уж со второго беспременно. До работы я охоч…

– А сосед у тебя – тоже охоч?

– Степка-то? Справный мужик!

– А другие?

– Всякий люд водится. Кто – хозяин, а кто и по горькой.

Петька демонстративно расхохотался:

– Ты, стало быть, на себе пахать будешь, а другой горькую глушить…

– Яво дело.

– Не-е! – замотал головой Петр. – При большевиках все общее. Ты урожай собрал – поделись с ним…

– Поровну, «по справедливости», – не удержался и вставил я.

– Как это? – не поверил ударник. – Я горбатился, а он последние портки пропил…

– И портками поделишься, – усмехнулся Петр.

– А что, и бабы обчие? – гоготнул кто-то.

– Ну раз все, – подтвердил я.

Ударники развеселились, что случалось редко, а кто-то спросил:

– А что ж эти, дурачье, к ним примкнули?

– Большевички им мозгу засрали… – принялся было объяснять Петр.

В эту минуту подошел наш прапорщик, вернувшийся от полковника Трескина. За ночь большевики просочились в район Поварской улицы и ведут обстрел юнкерских постов и патрулей. Наша задача – очистить от них дома.

На улице до нас долетела ружейная стрельба, где-то бахнуло орудие. Ботаник беспокойно поглядел на меня. Я подмигнул – не дрейфь. Перейдя Арбатскую площадь, мы почти бегом вышли к Поварской и пошли, как и вчера, по противоположным сторонам. То там, то

там, и уже близко, раздавались выстрелы, и мы не в пример вчерашнему невольно жались к стенам. Прохожих нынче не было и в помине.

Ботаник шел за мной, видно, страх подгонял его, и он то и дело наступал мне на ноги, беспрестанно извиняясь. В очередной раз я недовольно обернулся.

– Извините, – со смущенной улыбкой сказал он.

– Страшно? – спросил я.

– Мне, э… несколько, – признался он и издал нервный смешок.

По совести сказать, я тоже нервничал. Одно дело на фронте, когда занешь, где враг и откуда ждать пулю, а тут неизвестно из какого окна, с какого чердака.

Выстрелы раздались совсем рядом. Из переулка перед нами выбежал патруль и показал нам дом, из которого их только что обстреляли. Прапорщик со своими шел по той стороне Поварской, и они не видели, что мы задержались с патрулем.

– Сбегать за остальными? – вызвался ботаник.

– Сами с усами, – буркнул Карпыч.

Мы свернули в переулок к указанному дому, но едва приблизились, как по нам начали стрелять из дома напротив. Карпыч мгновенно сориентировался и нырнул в нишу перед парадным, куда мы все набились. Юнкера шли по той стороне, и их обстреляли с нашей, так что они не могли знать, что в доме, мимо которого они идут, тоже большевики.

– Какой вперед берем? – спросил унтер Аникеича.

– Мне сдается, надоть оба, – сказал Аникеич. – Я с двумя перебегем на ту сторону в вороты, они по нам пулять, а вы поспеете до угла добегти.

Без Аникеича и двух ударников нас оставалось четверо, а дом, что нам предстояло взять, был довольно большой, и выходил боковым фасадом в другой переулок.

– Вчетвером – такой дом?.. – шепнул ботаник мне, но Карпыч услышал и обронил:

– Ударников, ботаник, мало не бывает.

Аникеич с двумя изготовились к броску, а мы бежать за унтером. Последнее, что я видел, как Аникеич и его двое выпрыгнули чуть не на середину переулка и бросились во двор напротив, а мы рванули за Карпычем к углу. Ботаник нещадно наступал мне на пятки, но было не до того, чтобы выговаривать, а ему не до извинений. Из обоих домов трещали выстрелы, но пули били в мостовую позади нас: стреляли по Аникеичу, а по нам, когда мы уже свернули за угол и были в безопасности. Почти сразу стрельба оборвалась, и лишь из дома напротив еще с минуту пуляла винтовка. Унтер осторожно заглянул за угол и сообщил, что наших никто не полег.

Мы свернули в подворотню и побежали к черному ходу. Дверь пришлось вышибить, и мы бросились наверх. Обследовали чердак, поднялись на крышу – одни гильзы.

– Утекли гады! – сокрушился Карпыч. – А ну в подвал глянем!

Подвал также оказался запертым, но едва начали долбать прикладами, как дверь отворилась, и в полутьме мы увидели перепуганное лицо пожилого мужчины.

– Большевики есть? – рявкнул Карпыч.

Мужчина замотал головой и дрожащим голосом сказал, что одни жильцы. На всякий случай мы спустились проверить. В свете двух керосиновых ламп (правдами-неправдами, а керосин москвичи еще добывали) я увидел человек двадцать, большей частью женщины и дети, испуганно жавшиеся к мамкам. У всех на лицах испуг. Мы спросили, не прячутся ли здесь большевики. Тут как плотину прорвало: все ожили, разом стали сообщать, что большевики сидят на чердаке. Мы сказали, что уже не сидят, и можно возвращаться в квартиры. Вздох облегчения. Кто перекрестился, кто принялся собирать взятые в подвал пожитки, а один старичок предложил нам чайку, правда холодного. За ним и остальные стали предлагать, что у кого было. Мы сказали, что вот покончим с большевиками и непременно заглянем

на горячий чаек. С этим мы вышли во двор, и я увидел, что к нам бегут Петька и двое ударников из его отделения. Как оказалось, они услышали стрельбу.

Когда мы подошли к остальным, Аникеич держал за ухо пацана лет двенадцати.

– Не, не, дяденька, – плаксиво канючил тот, – в Бутырки не надо…

– Взрослые сбегли, а энтот еще в нас пулял, – пояснил Аникеич.

– Так вы ж противу трудового народу! – вставил мальчуган.

– Господи Боже мой! – вырвалось у Петра. – Вот подлецы! И мальцу мозги засрали!

*

Описывая сейчас наш первый боевой день, пожалуй, не вспомню во всей моей жизни дня более долгого. Возможно, оттого, что день этот слился в памяти с остальными днями Московских боев в один бесконечный, почти без сна.

Весь первый день прошел в обтирании стен домов, перебежках под пулями, беготне по лестницам и перестрелках, порой довольно ожесточенных. Сведения о домах мы получали с юнкерских постов и от патрулей, или нас находил связной. По счастию, в отряде были Петр и ботаник, знавшие район как пять пальцев, и нам не приходилось блуждать в замысловатых лабиринтах Никитских переулков.

Поначалу я считал дома, но вскоре стало не до того. Большевики стреляли скверно, но патроны не жалели, а почувствовав, что наша берет, уходили по крышам, а когда невозможно – легко сдавались. К исходу дня мы арестовали человек восемьдесят, коих передавали конвойному отряду студентов. Ботаник поглядывал на них чуть свысока, и не только оттого, что он в ударном отряде, но за день он стал стреляным воробьем, как, впрочем, и все мы, не имевшие опыта уличной войны. Большевики тоже поднаторели, стали метче, и в одной перестрелке сбили с головы Карпыча фуражку.

В училище возвращались за полночь, подгоняемые голодом, промозглым ветром, зябким туманом и моросью, отчего ботиночки ботаника насквозь отсырели.

– Знал бы, обулся в отцовские болотные, – сокрушался он.

– Много б ты в болотных набегал по этажам, – утешил я.

– И то верно, – подхватил Аникеич. – В их за куликом по болоту лазать, а не за большевиком по крышам.

Несмотря на поздний час, у электротеатра толпились пришедшие записаться в сопротивление большевикам, пожалуй, даже больше, чем вчера и утром. Переходя Знаменку, мы поравнялись со студенческой ротой, которую также вели в училище. Из строя ботаника окликнул знакомый, и они успели перекинуться парой слов.

Петров сразу завел нас в столовую, гудящую сотней голосов – кормили пополнение. С утра мы всего-то пожевали сухарей с сыром из сухого пайка, что выдали за завтраком, а тут поставили дымящую с духом мясных консервов кашу, кажется, в жизни ничего вкуснее не ел. Петров с нами не сел и куда-то ушел. Мы уже допивали чай, к которому дали по три печеньица и по кусочку сахара, когда прапорщик вернулся с сапогами для ботаника и солдатским мешком, куда велел ему положить ботинки. Не успел, бедняга, взять ложку, как посыльный из электротеатра, где Трескин расположил свой штаб, передал, что полковник срочно вызывает его к себе.

Допив чай и оставив некурящего ботаника караулить порцию прапорщика, мы вышли из училища и закурили, гадая, на какой предмет полковнику понадобился Петров. Особо гадать было нечего: или получить распоряжение на завтра, или, не приведи боже, снова куда-то бежать. Прапорщика увидали, когда тот выскочил из двора электротеатра и через Знаменку бегом направился к нам. Значит, снова бежать стрелять. Бросив на ходу: «Курите, курите», он скрылся в училище, и к нам, сдавши ему кашу, вышел ботаник. И почти следом,

дожевывая на ходу, вышел прапорщик. Стало быть, бежать. Однако команды «Становись!» не последовало, и по тому, как неспешно он достал папиросу, мы поняли, что пронесло. Сделав пару затяжек, прапорщик заговорил:

– По донесениям разведчиков, на завтра большевики готовят массированную атаку на Никитские ворота, чтобы выйти к Арбатской площади и ударить по училищу…

– Дык уж нынче завтра, – вставил кто-то.

– Нынче и начнут. Ночевать приказано в электротеатре, чтобы быть под рукой.

Для ночевки нам отвели курительную комнату, где по указанию Трескина поставили «сороконожки», походные офицерские кровати, понятно, не о сорока ногах, но о восьми или десяти, не меньше. Спали не раздеваясь, прикрывшись шинелями. Я едва донес голову до подушки, как провалился и проспал бы невесть сколько, если б не топот и выкрики команд в вестибюле. Продрав глаза, я обнаружил, что проснулись почти все и осовело сидят на койках, не понимая день или еще ночь: окон в курительной комнате не было, и свет доходил только из вестибюля.

– А прапорщик так и не ложился? – спросил ботаник, спавший на койке рядом со мной.

Я поглядел. Койка Петрова аккуратно заправлена, а самого нет. Достав из-под подушки часы, я откинул крышку и поднес к свету. Шесть с четвертью.

– Который сейчас? – спросил ботаник.

– Тсс! Тихо! – прикрикнул Карпыч, к чему-то прислушиваясь. – Слышьте? Началось.

Теперь и мы услыхали пробивающуюся сквозь стены стрельбу. Я привстал и принялся теребить спавшего по другую руку от меня Петьку – вроде я упоминал о его способности спать даже под залпами корабельных орудий.

– Мартынов! – заорал я над его ухом. – Полундра! Большевики!

– А? Что? – вскочив прямо на ноги, тупо озирался он.

Все заржали. В эту минуту в курительную вошел Петров:

– Встали? Живо заправить койки и в ружье. Выпадет минута – позавтракаем.

Когда выпадет эта минута, и выпадет ли она тебе? Верно, у всех шевелились такие мысли, и когда Карпыч достал из мешка сухари и сыр, мы последовали его примеру. По счастию, за ужином мы наполнили фляги чаем, что оказалось как нельзя кстати. Жуя и прихлебывая из фляжек, мы направились к выходу, где приостановились, пропуская на выход студенческую роту. Ботаник окликнул вчерашнего знакомого универсанта. Тот оглянулся, вскинул руку и браво прокричал строчку из Блока:

И вечный бой! Покой нам только снится!

Пропустив роту, мы вышли, и Петров разрешил покурить. Винтовочная трескотня и пулеметные очереди неслись со стороны Никитского бульвара, казалось, совсем близко.

– У Никитских ворот, – определил Петр.

– Не у Никитских, а на Страстной! – оспорил ботаник, не упускавший случая показать, что знает Москву лучше.

– Помилуйте, до Страстной полторы версты, огонь гораздо ближе.

– До Страстной – полторы?! – полез в бутылку ботаник.

– А то все две, если угодно, – вяло заметил Петька.

– Ну, разве на кривом извозчике, – ядовито сострил ботаник.

Петр, которому осточертели эти препирательства, только отмахнулся. Ботаника это не удовлетворило, но сказать ему не дал прапорщик, подтвердив, что стреляют у Никитских ворот, и нам приказано туда выступить. По его словам, ночью большевики в обход наших постов вышли переулками к бульвару и атаковали дом, что стоит в торце. Несколько остав-

ленных в доме юнкеров не смогли продержаться, и нам предстоит этот дом вернуть, особенно ввиду его крайне важного военного значения.

– Дом Гагарина, что ли? – уточнил у прапорщика Петр.

– Отчего непременно Гагарина? – встрял ботаник. – Дом Колокольцева тоже в торце! – И уточнил у прапорщика: – В торце чего, Тверского или Никитского?

– Дом Гагарина, – отрезал Петров, спорщик и его донял.

Петр присвистнул.

– Что? – насторожился прапорщик.

– Не дом, а домина, нам не удержать.

– Мы вчера мимо раз двадцать проходили, – поспешил вставить ботаник. – Где кофейня, помните? А на углу аптека, она на две стороны выходит: на Большую Ник…

В эту минуту рядом бабахнуло, где-то зазвенели стекла, и все невольно пригнулись. Оказалось, выстрелила одна из двух трехдюймовых пушечек, что обманным манером удалось заполучить у большевиков и поставить на Арбатской площади.

– Нас сменят, как только выбьем их, – сказал Петров и повел нас.

Мы перешли Воздвиженку и пошли цепью во всю ширину бульвара на случай, если из какого-то дома откроют огонь. Уже рассвело, и было ужасно холодно, жухлую траву газонов покрывал иней. Руки коченели до ломоты. Шли с винтовками на изготовку, но я приспособился совать приклад под мышку и греть то одну, то другую руку в кармане. Мы приближались к трехэтажному зданию, которое стояло поперек бульвара, фасадом на Большую Никитскую, и до поры до времени защищало нас от обстрела.

– Дом Колокольцева, – показал мне ботаник. – А слева из-за него видите высовывается? Дом князя Гагарина, это уже на той стороне Никитской, но…

И в эту минуту слева от нас засвистели, зачмокали пули, вонзаясь в стволы лип, срывая кору, со звяком рикошетя от чугунной ограды и зарываясь в землю.

– Принять вправо! – запоздало скомандовал прапорщик, так как левый фланг сам уже метнулся под прикрывающий нас дом Колокольцева. Навстречу нам вышел патруль.

– Ударники? – прыгающими от холода губами выговорил юнкер. – Ждем не дождемся. Пробовали сами – четырех потеряли. У них во втором этаже пулемет, косит направо и налево. Как вы его брать будете – не представляю.

– Как другие, так и этот, – снисходительно обронил ботаник.

– А с Тверского как? – спросил прапорщик.

– С Тверского тоже пулемет, наших до половины бульвара отогнал. И Страстная за ними, так что наши под перекрестным огнем.

Прапорщик покачал головой и спросил, кто старший.

– Поручик Бачинский.

– Он, верно, еще в трактире, мы его там видели, – подсказал другой юнкер.

Петров тряхнул головой, не поверив своим ушам. Юнкера засмеялись и пояснили, что туда притащили буржуйку, и там у них грелка, можно и кипятку согреть… Мы вошли в здание и тут же даже поверх стрельбы услышали обрадованные возгласы: «Ударники! Ударники!..» Ботаника распирало от гордости. Он почувствовал мой взгляд и смутился.

– Мне б шинельку как у вас, – пробормотал он, – а то я как белая ворона.

– Успокойтесь, – сказал я, понимая, что он стесняется своей черной студенческой шинели среди наших солдатских. – Это встречают по одежке.

– Постараюсь, чтоб провожали по выстрелам, – сказал он.

К нам подошел фельдфебель и лестницей повел во второй этаж. Едва он отворил дверь в трактир, как на нас пахнуло жаром, или так показалось с промозглой улицы. Опять раздались голоса: «Ударники! Ударники!..»

Юнкера жевали за столиками, заставленными консервными банками, кемарили сидя на полу и притулившись к стене. Несколько человек облепили буржуйку, протягивая к ней руки. Поручик сидел к нам спиной и, похоже, дремал над картой.

– Господин поручик!.. – кашлянув, обратился фельдфебель.

Поручик встрепенулся и встал, улыбаясь нам, думаю, из вежливости:

– Наконец-то! – И обратился к фельдфебелю: – Пулемет подвезли?

– Никак нет, господин поручик!

– Погано-с! – прицокнул тот языком, поглядел какими-то грустными глазами на нас и обратился к прапорщику, как бы извиняясь: – Прикрыть вас не имею возможности, одни винтовочки. – И спохватившись, протянул Петрову руку: – Поручик Бачинский.

Не знаю почему, но его фамилию я вспомнил не заглядывая в записи, что сделал по свежим следам после того, как все закончилось, и чем пользуюсь работая над книгой.

– Не будем терять время, господа, – сказал Бачинский. – Во всякий момент они могут выступить, и, если дом Гагарина не взять, Никитскую не удержим. Вот мы, – обратился он к карте, – вот дом Гагарина. Слева на нашей стороне трехэтажный – пока наш…

– Дом Соколова, – вставил ботаник.

– Дом Соколова, – повторил поручик. – Угловой на той стороне – пока за нами…

– Где молочная Бландовых? – уточнил ботаник, за что схлопотал тычок от Карпыча.

– … пока наш, – продолжал поручик. Однако ж… – И обрисовал обстановку: – Слева к дому Гагарина не подойти. – По моему разумению, попытать счастья можно справа. – Он жестом пригласил нас к окну. – Наша сторона до угла не простреливается. Аптеку на той стороне видите? Вход с бульвара. Если броском пересечь Никитскую – через аптеку их возьмете. Стрелки они говеные. Но пулеметчик, верно, армейский.

– А если дальше по Никитской обойти? – спросил Петров.

– Он до Газетного все простреливает, – покачал головой Бачинский. – Единственно… Второго номера юнкера, должно быть, сняли. Больше тратит на перезарядку. Если использовать эту паузу…

– Уже дело, – повеселел Петров.

– Да как угадаешь? Мы попытались, а он, сволочь, просто примолк. Мы выскочили… – Лицо поручика дернулось. – Четырех оставил, так и лежат – не дает вынести. Далее: синематограф «Унион» пока наш. Двухэтажный через Никитскую – пока наш. За ним, видите шестиэтажный? Брандмауэром к нам, с угловой башней? Пока наш…

– Дом Коробковой, – не удержался ботаник, за что схлопотал подзатыльник.

– И дом за ним, отсюда не видно, тоже пока наш…

– Позвольте полюбопытствовать, господин поручик, – с задиристыми нотками заговорил Петр, – отчего вы все повторяете: «пока», «пока»…

Бачинский поглядел на него и, решив по шинели, что солдат, отвечал на «ты»:

– Оттого, голубчик, что я не знаю: что с нами будет через день, через час…

– Вы не верите в нашу победу? – уже с вызовом спросил Петр.

– Я… – Бачинский глянул на нас, потом на юнкеров, что прислушивались к разговору, и отвечал Петру ровным, бесстрастным голосом: – После отречения Помазаника я не верю уж ни в Бога, ни в черта, ни в Россию – ни-во-что. – И замолчал.

Последовало обескураженное молчание. И все разом заговорили.

– Господин поручик, отчего ж вы с нами? – крикнул кто-то из юнкеров.

– Я не с вами, господа, я с собой, – ответил Бачинский бесстрастным, ровным голосом, отчего последующее прозвучало не трескучими словами, а как бы шло от его сердца. – Хочу умереть с сознанием, что сделал для Отечества, которое безмерно люблю, все, что в моих силах. Долг перед собой, если угодно.

Как это было созвучно с тем, что испытывали мы с Петькой, когда ушли из Корпуса и подались на фронт. Помню, в ту минуту я подумал про отца. Ведь оба, и он, и поручик, были прозорливы и наперед знали, чем все закончится. Но отец по отречении Государя подал в отставку и увез семью в Сербию, а Бачинский, понимая всю бессмыслицу и безнадежность, пришел к нам. Умирал ли отец с сознанием, что сделал для России все, что в его силах? Или же в отличие от поручика слишком любил жизнь и себя.

*

Ко всему привыкает человек, даже к виду смерти. Казалось, мы с Петькой повидали ее довольно, чтобы свыкнуться, но когда, выйдя на улицу, я увидел впереди на Никитской лежащих на мостовой юнкеров, у меня царапнуло по душе. Один успел добежать почти до того тротуара, остальных свалило на нашей стороне. Теперь этот путь предстояло проделать нам. Я бросил взгляд на ботаника. В глазах у него стоял ужас.

Сосредоточившись в нескольких шагах от угла, мы присели на корточки и закурили, кто знает, может статься, по последней. По договоренности с поручиком, юнкера из разных окон не переставали тревожить большевиков, провоцируя их пулеметчика на ответный огонь. Петров хронометрировал время, что тот тратит на перезарядку.

– От тридцати секунд до минуты, – пряча часы, сказал прапорщик. – Ну, с Богом?

Мы встали и изготовились к броску, выжидая, когда пулемет замолчит. Наконец-то!

– А леший его знает! – не решался прапорщик.

– Я спытаю, – вызвался Аникеич, перекрестился и в два прыжка оказался на мостовой. Очередь! Аникеич нелепо взмахнул руками и рухнул на булыжник. Мы ахнули.

– Мать твою! – вырвалось у прапорщика.

Как вдруг Аникеич ожил, буквально цирковым манером кувырнулся, вскакивая на ноги, и метнулся назад к нам. Пулеметчик, верно успокоившись, что уложил его, схватился, дал очередь – Аникеич уже был с нам, а тот продолжал строчить и строчить, сшибая с угла штукатурку и кирпич, пока с досады не выпустил всю ленту.

– Тридцать секунд. Все за мной! – крикнул прапорщик и бросился к углу аптеки.

Мы со скоростью спринтеров рванули за ним, обегая тела юнкеров. Захлопали выстрелы, ковыряя булыжник мостовой. Скучившись за углом аптеки, где мы были вне сектора обстрела, мы перевели дух. Петров окинул нас взглядом:

– Все целы? По одному, за мной! – И пригибаясь под окнами, откуда могли пальнуть, перебежал к аптечному крыльцу и взбежал к дверям.

За ним следующий… Ботаник перебегал впереди меня. В эту минуту я увидел, как из разбитого окна за входом в аптеку свесился красногвардеец, прилаживая для выстрела винтовку. Я отскочил всторону, чтобы не попасть в ботаника, но в ту же секунду тот сам навскидку выстрелил. Красногвардеец обвис на подоконнике, роняя винтовку. Не знаю уж, видел это ботаник или нет, но когда я вбежал за ним на крыльцо, где уже долбали прикладами дверь, он обернулся ко мне и запыхавшимся, с отчаянием голосом спросил:

– Я его убил?

Это был первый в его жизни убитый им человек. А что я мог ответить?

– Если б не ты его, так он тебя, – утешил я.

– Бросай оружие! Дом окружен! – заорали благим матом ворвавшиеся в аптеку.

Когда вбежал я, несколько рабочих и красногвардейцев уже стояли с поднятыми руками. Прапорщик подскочил к одному и, тряхнув за грудки, спросил:

– Где лестница наверх?

Рабочий часто-часто замигал, челюсь у него прыгала, и он едва выдавил:

– Тт-там.

Оставив двоих с арестованными, прапорщик махнул остальным и устремился вглубь аптеки, по пути распахивая пинком двери. За ними уже стояли с поднятыми руками. Из некоторых дверей выходили сами и поднимали руки. Ото всех разило оприходованным аптечным спиртом.

Выйдя к лестнице, Петров распределил кому куда: нескольких направил по первому этажу в другой конец дома, с оставшимися взбежал во второй этаж, часть послал на третий, а я и еще несколько человек оставил с ним, приказав обшарить все комнаты. Часть пошла к помещениям над аптекой, остальные за прапорщиком в другой конец.

– Да!.. – спохватился Петров. – Стрекоча не трогать! Оставьте мне, он мой.

Мы стали заглядывать в комнаты, в то время как он зашагал вперед, чуть наклоняя набок голову и, как я понял, прислушиваясь.

Дом еще не был очищен, но нервы уже не были так натянуты, как перед броском, и меня разобрало любопытство. Стараясь не греметь сапогами и попадать в такт шагам прапорщика, я последовал за ним. Стрекот пулемета приближался. У двери впереди Петров приостановился и осторожно приотварил. Я встал шагах в пятнадцати от него и стоял не дыша. Распахнув дверь, прапорщик не своим голосом рявкнул:

– Встать!!! – И скрылся в комнате. Пулемет смолк, и тотчас я снова услышал голос прапорщика: – Встать, красная сволочь!!!

Я кинулся к этой двери. Картина, что я увидел, стоит у меня перед глазами, точно произошло это не полвека назад, а вчера. Пулеметчик, тоже прапорщик, но с красной повязкой на рукаве, обернувшись от «Максима», оторопело глядел на Петрова, вдруг рывком опрокинулся на спину, выхватывая наган, и выстрелил. Пуля влетела в стену много выше. Я хотел выстрелить, но Петров опередил. Пулеметчик дернулся и обмяк, в то время как Петров в прыжке с остервенением всадил в него штык. И всадил еще, и еще… Красный давно был мертв, но Петров в неистовстве продолжал колоть его. В ту минуту мне показалось, что наш прапорщик повредился в уме. Меня сковал ужас.

– Прапорщик! Прапорщик! – наконец смог выкрикнуть я.

Он как раз заносил штык, чтобы вколоть в очередной раз, и так, с приподнятой на телом винтовкой, оглянулся. Лицо его было страшно.

– Прапорщик, он мертв! – попробовал я его отрезвить.

Он отвернулся и с чудовищной силой вогнал штык, воткнувшийся через тело в дубовый паркет. Какое-то время он неподвижно стоял над красным, затем, верно приходя в себя, стал вытаскивать штык, разкачивая винтовку, так крепко тот засел. С граней штыка стекала кровь. Петров рванул с плеча красного повязку, отер штык, брезгливо бросил на мертвого и, мельком глянув на меня, сказал, как бы оправдываясь:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.